

Анатолий Сорокин

*Грешные
люди*

Провинциальные хроники
Книга третья

Анатолий Сорокин

**Грешные люди. Провинциальные
хроники. Книга третья**

«Издательские решения»

Сорокин А. М.

Грешные люди. Провинциальные хроники. Книга третья /
А. М. Сорокин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-832624-0

Перестройка, шоковая терапия, гибель империи, Горбачев, так и не покаявшийся перед народом, Ельцин с командой младороссов, бесстыдно обманувший народ, обещая совсем другое. Ведь помним, как вчера... Видел, слышал, участвовал. Как запомнилось, как пало на ум, так и легло на бумагу. Был честен и откровенно уважителен к прошлому, в котором дед мой был до последнего дня с Колчаком, а отец сложил голову под Смоленском красным пулеметчиком.

ISBN 978-5-44-832624-0

© Сорокин А. М.
© Издательские решения

Содержание

Часть пятая	6
Глава первая	6
Глава вторая	15
Глава третья	19
Глава четвертая	25
Глава пятая	35
Глава шестая	44
Глава седьмая	55
Глава восьмая	62
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Грешные люди
Провинциальные хроники. Книга третья
Анатолий Сорокин

© Анатолий Сорокин, 2016

ISBN 978-5-4483-2624-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть пятая

Глава первая

1

И снова, как много-много лет назад, но в другой избе, Симаков швырял на середину пола свои нехитрые пожитки. Хватался за самое нужное из всего, что попадало на глаза, торопился. Стиранные брюки, две или три мятые-перемятые застиранные рубахи, подушку – налево, на одну кучку, помазок, безопасную бритву, обломок зеркала – на другую, но на одну и ту же, замызганную синюю скатерть в чернильных разводах, сдернутую в сердцах с обеденного стола.

Когда он бросил бритву, коробочка раскрылась, содержимое высыпалось. Он поспешно стал на колени, сгреб лезвия, блестящие детали, сунул в ботинок, оказавшийся рядом.

– Кажись, увязал, лишнего не возьму, – сказал с облегчением, словно убрал последнее препятствие, мешавшее покинуть Настину избу. – На семь разов перемерено, а резать боялся, от Варьки и то смелей уходил. Хватит с меня! – воскликнул незнакомо молодо, оглядываясь кругом.

Подбоченься, Настюха стояла в дверях. Он посмотрел на нее без всякого сочувствия, странно хмыкнув, связал узлы скатерти, забросил ком на плечо.

Не уступив дорогу с первого раза, жена больно и зло толкнула Василия в грудь.

По прежней мерке она должна была закричать, но не закричала. Ни звука: губы тонкие сжались, в зауженных хищно глазах мельтешения, как молнии на грозовом небе. Раздулась от лишнего воздуха, переполнявшего неподвижную грудь, готвую вместе с выдохом, выплеснуть, наконец, ярость и бешенство.

Симаков перебрал узел на другое плечо, на лбу выступила испарина. Вытерев лоб, он еще решительнее пригнулся, готовый вынести жену вместе с дверью, и тогда лишь баба завыла.

Дико взвыла Настя, на пределе скопившихся чувств и страданий:

– Сбегаешь! От сына родного сбегаешь! Молчком смываешься, пентюх недоношенный! Я те не Варька, одной горбатиться на Петькино воспитание, учти, на алименты подам. Завтра же, дня не промедлю...

Меж тем, не сдвинулась ни на сантиметр; Симаков лез на нее лбом, как на таран шел. Настя снова пихнула его, но теперь Симаков был готов к отпору, пригнулся, решительней попер напрапалую, не понимая, лупит она его или повисла на шее, обнимает, уговаривая одуматься и остаться.

Ничего не хотелось Василию, ни слышать, ни понимать, не то, что сочувствовать. Прочь! Прочь навсегда! Никакой силой больше не задержать его в этой прокисшей избе.

Он так и вытащил ее на себе за дверь.

Страхнув, сбежал с крылечка.

– Сдохнешь! Никому ты такой не нужен. Думаешь, с хорошей жизни я на тебя позарилась, колоду бестолковую? От жиру? Как бы ни так! Варьке-кобыле позавидовала: мужиком, видите ли, обзавелась, что ли я хуже? – Опустилась на крыльцо, взвыла горько, обреченно: – Пропади ты пропадом, аппендицит не вырезанный, нашла, чем соблазниться, дура такая! До тебя счастья не видывала и с тобой не завела.

Ссоры у них не было до последней минуты. С памятного злосчастливого вечера у Курдюмчика, когда, выпив лишнего и выдав себя с головой в отношении бывшей жены, налегая грудью, он лез встречно ветру непонятно куда, оступаясь и проваливаясь, твердя и твердя, как заведенный, что кончено, и уйдет от Насти.

Нужен был повод. С криком или без крика, не важно. Самый незначительный, и Василий дождался, развязал себе руки.

Холодный ветер, пронизывая изреженные леса, летел встречно, хлестал по лицу. Прищелкивая концами, во дворе через дорогу моталось белье на веревке, как беспомощно металась в груди его измученная душа. Изнемогая в собачьей тоске, заунывно выла где-то позабытая дворняга, утратившая хозяйскую строгость и его же хозяйскую ласку.

Жутко было шагать в ночь, ощущая холод затылком – Василию тоже невыносимо хотелось завывать, как случилось с ним в неполные двенадцать, когда неурожайной осенью, без объяснения причин, в первый раз забрали отца, председателя Курьинского колхоза, а волки задрали корову.

Обнаружив ее распотрошенную в прибрежных кустах, он разревелся безутешно, не совсем понимая, по корове плачет или отцу. Он отчетливо помнит, что выплакаться и успокоиться долго не удавалось, как не подставлялся лицом хлесткому ветру, сколь ни лез в шумливую гущу камышей и тальника, сотрясаемый ознобом. Было страшно возвращаться домой, где страдала и мучилась неизвестностью мать, которую увозили в райцентр вместе с отцом, но через три или четыре дня отпустили

Потом и отца выпустили, он куда-то поехал в поисках правды и снова оказался арстованным. Отправилась мать за него хлопотать...

Она ничего не рассказывала, только плакала и плакала, билась в истерике... пока однажды, проснувшись среди ночи, Василий не услышал непонятные шорохи, бряканье табуретки и в лунном свете не увидел мать, надевающую на шею петлю.

Он не сразу сообразил, что надо делать, вцепился в нее и повис.

Мать захырчала страшней и тогда он догадался, как необходимо поступить. И справился, по не понимая, откуда нашлись силы. Приподнял, ногой сумел подтянуть табуретку, взгромоздить бесчувственное тело родительницы, забраться самому и, дотянувшись до кухонного стола за ножом, перерезать удавку, что мать уже не спасло. Мать скончалась и опять, как из сказки, появился отец, набежавшей весной оказавшийся убитым вроде бы как из-за трех мешков семенного зерна.

Той же давней ночью с коровой, убившей в нем последнюю каплю живого и доброжелательного, набродившись у реки, увязшей во мраке и непроглядности, он опустился на кочку, ощущая тяжелую и несправедливую ограниченность мира, ошестинившегося штыками, и тогда же почувствовал оборвавшимся свой путь в счастливую жизнь, обещанную отцом и красногалстучной школой.

Воды с тех пор утекло не меряно, но мало что изменилось в душе Василия Симакова, очерстневшей навечно. С отцом оказалось непросто и непонятно, отец вроде бы отправил куда-то обвинительную бумагу с фактами на районное начальство, что стало известно, и у них в избе, под надзором Паршука, несколько раз проводили обыски, выворачивая половицы. А потом он, самым непонятным образом, оказался у деда, все пытавшегося что-то выведать, откуда на отца и за что...

В парнях судьба подарила еще один шанс – Варвару, дочь разбитной бабенки, за которой ухлестывал когда-то молодой Паршук, что вернуло к жизни, возбудило сильные желания, которыми он жил счастливо почти десять лет, исчезнувших было из сознания не без Настюхиного усердия и недавно возвратившихся обвальской тоской.

Она была всюду – Варвара; следует неотвязно, не исчезает ни на мгновение.

Она представляла яркой в темной вязкой ночи, которую он взламывал грудью, упиралась в него... руками Настюхи, противясь его страстным желанием, не подпуская близко.

От нее пахло лесом, сухими травами, которые он только что сбрасывал с воза.

И не Настя, придавленная верхушкой воза, а Варвара плюхалась на другой стороне тележки, призывая на помощь.

Все путалось в голове и возбужденном воображении. Приходили на память какие-то давние покосы, где они с Варварой сбивали стога для собственной коровы, а потом, утомленные, забираясь в шалаш, тихо лежали в объятиях друг друга.

Тележка возникла с водилом у Варвары в руках. Кольцо, штырь, близко-близко Варварины губы, ее едва ощутимое дыхание.

– Варя! Варенька!..

Ночь не любит подобных смятений, ночь призвана оберегать людские сердца от сумасшествия, хотя самое волнительное с людьми случается ночью.

– Варя! – стонал Симаков и не слышал своего голоса.

Долгие годы, оставаясь незаметной и никому не нужной по-настоящему, она неожиданно переменилась с появлением в ее жизни Савелия Ветлугина. Изменилась в походке и поведением, держалась с достоинством и степенно, наполнившись не мерянным счастьем, давшимися ей столь неожиданно, и которого он, Василий Симаков, оказался лишенным навсегда. Взгляд ее, полный открытого сочувствия, не давал покоя, не звал и не манил в желанные объятия. Осознавая разумом, что Варвара сполна выстрадала новое счастье, заслужила, тоскующим сердцем понимая закономерность ее бабьего счастья, в душе Василий не хотел его признавать.

Как же он мог отказаться от нее навсегда, если любил, был уверен, что любим – самый страшный вопрос, который мучил его последние недели. Так ли уж, казнясь за нечаянную связь с Настюхой, расстался он с нею, вроде бы наказывая себя? Да и нечаянной ли была эта связь, собственного желания уж не было? Холодная, не разбуженная им до конца Варвара, как и сам он во многом был будто бы не разбуженным долгое время и, похожая на коршуна, вцепившегося в добычу, соблазнительно горячая, доступная постоянно, беспредельно жадная в ласках Настюха – в чем истина и где тайна его мужской страсти?

Почему Настюха взяла над ним верх, а он легко покорился?

Чувства, чувства, чувства! Что в них первично и что вторично? В чем настоящее и где обманчивое, будто мираж? Мог ли он подумать, что горячая, ненасытная Настя, сторающая в любовных забавах, обжигающая его своим порочным телом, скоро утомит и надоеет. Что станет приторной и отторгающей, перестанет манить, а холодная и сдержанная, умеренная в ласках Варвара сохранится навеки желанной!

Что постельные игры с Настюхой это одно, увлекательно, туманит мозги, швыряет в омут мужского безумия, но способно надоесть, а Варвара – нечто другое. С Варварой он жил, как живут при тихом рассвете и восходящем солнце, рассыпающими душевный покой и ровную радость. Ровную, тихую, без метаний. Страсть – собачья болезнь не то бешенства, не то сумасбродства, когда у сучки течка, а у кобеля... А у кобелька – сам хрен не поймет, что у него...

Но случилось, победив его слепую, безотчетную страсть, произошло, не принесся радости освобождения от Настиных чар.

Окончательно добила новость, услышанная в застолье Курдюмчика, что Варвара снова готовится стать матерью, вызвав дикий протест. Страшнее новости Василий не помнит, не желая нового ее материнства, он постоянно помнил о нем.

Точно угадав его состояние и грозящие последствия, Настя была в эти дни предупредительной и услужливой. Не в пример взялась за хозяйство, вымыла и выскребла избу, дважды подбеливала задымленный шесток, перетрясла постель, подушки, перину на первом же снегу, оставив до вечера на морозе. Она стала неузнаваемой и почти доброй, не осыпала упреками и выговорами, когда он задерживался и заявлялся «под мухой».

В последние дни совместной жизни Настя была не похожа на себя прежнюю не только поведением, и одеваться стала опрятнее, строже. Вечером только и сказала, что трактора новые распределяют, просил бы себе гусеничный, а то гоняет на своем бессменном гусাকে.

Это было сушей правдой, тракторишко ему служил много лет, давно числился в кандидатах на отправку в утиль, но Симаков не заикался о списании. Он сам ремонтировал движок,

перебирал не однажды коробку передач, ни разу не сдавая на капиталку, производил другой мелкий ремонт, делая его и в зимнюю стужу, потому что теперь и зимой находилась работа. И вообще: колесный трактор – это колесный, шустренький и поворотливый, а гусеничный – он гусеничный...

Признаться, слова жены ничем не раздосадовали, не вызвали гнева, достаточного для ссоры. Просто, столь непривычно долго не получая другой возможности выяснить отношения, он решил воспользоваться подвернувшимся незначительным. Вот и все, и когда она сказала о тракторе, он почему-то подумал о себе и увидел себя таким же повидавшим виды. А подумав, что ему, как трактору, пора на списание, сразу, без лишних слов потянул со стола скатерть, давно продумав, что уходить будет, как пришел, с узлом на плече.

С этой въедливой и занозистой мыслью, что никуда кроме списания он больше не годен, Симаков шел по деревне. Встречные мужики делали вид, что ничего непонятого в его поведении не замечают, идет человек с узлом на плече и пускай идет, здоровались как обычно, бабы вздыхали сочувственно, отворачивались.

Один лишь Данилка крикнул из-за плетня, перестав чистить дорожку:

– Ну, Василий, отчебучиваешь!

Жена выдернула у него из-под груди лопату, и Данилка, едва не упав, длинно выругался.

2

Совершенно не выстраивая каких-то планов на ближайшее будущее – Василий вообще их никогда не намечал, свыкшись, что за него решают жена и начальство, и ничего другого, кроме как молча подчиняться, ему не остается, он безотчетно свернул к избе Паршука, вросшей в землю по самые подоконники, с просевшей камышовой крышей. Ни огорода, соток под двадцать под картошку, ни огородчика с тепличными грядками под огурцы-помидоры, как у нормальных людей. Пусто, запущено в просторном некогда дворе, с развалившейся, древней телегой у кособокой сараюшки, едва ли не старше самого старика. Забор, несколько не похожий на забор в нормальном его понимании. Нечто подпертое суковатыми палками и жердинками, чтоб чужой скот не входил да, по случаю, самого не поддел на рога, лишь подправленное на скорую руку для ровности линии.

Увидев деда на окоротыше, Василий швырнул узел:

– Занеси, я поздно приду.

– Ково я тут должен заносить за тебя? – пискнул визгливо дедка и не пошевелился.

– Ково видишь, – отрезал Симаков, неуклюже разворачиваясь на увязистой тропинке.

– Не выдумывай-ка, едрена мить. – Паршук вскинул реденькую бороденку. – Откель пришкандыбал незвано непрошено, туда и завертай оглоблю. Здесь не приют убогим.

Поганка, скрючившаяся в три погибели, буровит-то что; Василий приблизился к деду, приподнял за плечи:

– Земля стала хуже чужой, не видишь, старый пердун. Куда мне дальше?

– Хоть на тот свет, – упрямо не сдавался вздернутый дедка. – Говорено было, не приму, когда те в мозги шандарахнет без удержу, и не приму. – Не нужен ты здесь, семя безродное. Без ума, оно без ума и есть, Васюха прыг-скок. – Заметив нехороший блеск в глазах Симакова и валенками снова нащупав колеблющуюся опору, взвился напористее: – Василий, укротися, едрена мить. Из ружьишка в тя пукну, сразу обмякнешь. Выбрось из головы.

– Ох, ох! Кобелей бездомных пужай, брандспойтом своим толстоствольным.

Но не получилось у Симакова весело и шутливо, шла из него сплошная черная злоба.

– Дитё у нее будет, ухарь-Васюха. Да рази я был супротив, ты спомни, голова самоварная! Упустил свое, Василь-Васюха, баста. Не-е, баста, Васюха, завязано на этом корявом сучке,

больше не развязать. Когда коснулось дитё рожать – последний капец, пересохла речка, утекло твое навсегда.

Симаков отшатнулся, вскрикнул поранено:

– Верни... Верни, ты можешь! Что хошь говори, лишь бы... На тот свет согласен, если без пересадки и напрямки. Нету нигде! Не знаю, зачем родился.

Не договорив, рванул с головы шапку, полез по снегу в обратную сторону.

– Васюха! Василий! Ее-то душа мне ище ближе твоей. Ить и с ее родителем, елки-мать, я на контру в одной шеренге хаживал! Ить и ее родитель-хват в моей памяти как живой, – бежал семеняще следом дедка. – Уж не обессудь, нет больше уваженья к тебе, не будет в век. Не порть мне старость, едрена мать, с Настюхой в жисть не свяжусь. Забирай за однем свои манатки.

Из-за другого угла плетня вывернулась Нюрка, спросила:

– На кого разоряешься, дедка? Испугалась я, было, козел Васька, может, сбежал?

– Васька и есть, да не рогатый, как мой супротивник. Вон-а, за поворотом штаны развеваются. Погляди, какой ухабака нарисовался с узлом на плече! Видела обормотину! Грозился, грозился придти на житье, с поллитровками хаживал, я – шутки шутит, прохиндей, а он, нате вам, елки-мать, на всем сурьезе!

– Симаков?

– Не слепощарая ить, – взвизгнул досадно старик, – Васька-хват всей персоной. От Настюхи смылся, вишь, с узелком. Я хто ему такой? Занеси, грит, я поздно вернуся. Пить поперся кудысь, а я, значит, сторожи чужие богатства. Ишь, какой узел скопил, в избу не влезет!

Только что, спровадив Кольку Евстафьева, Нюрка была в благостном настроении, напоминая сытую кошку, разнежившуюся в крепких объятиях. Поверх легонького платица – черная плюшевая дошка, не закрывающая голые колени. Длинные волосы распущены.

Прыснула Нюрка, плюхнулась на узел, разбросилась широко ногами, обнажив толстенные белые икры:

– А че тебе, дедка, веселей жить станет, давай, примамай, я пригляжу за вами.

Паршук подскочил к ней, скрючился, сжался до размеров гномика:

– Сама-то в уме али так себе, серединка на половинку? Ково городишь? Ить Настюха – как тать, избенку сдуру запалит – халупу-то!

– Нужен ты ей! – ржала Нюрка кобылой и бухалась на узле. – Мягко, дедка! Скопил Симаков мягкого, подушку да одеяло, а на перину не довелось! Айда, вдвоем посидим! – Подхватила, поволокла узел по снегу: – Че же теперь, пропадать человеку, еслив с собственной бабой житья нету? У мужиков часто, ча-аасто, дедулька! Это тебе не довелось похлебать, а Василию – под завязку. Растворй ворота, пока к себе не перетащила.

Нюрка удивила деревню, как никто не удивлял. Осенью после жатвы уволился комбайнер Мирча Костровец, сын раскулаченного перед войной в Бессарабии старика-молдаванина, в свое время, схоронив отца и заведя семью, вроде бы, глубоко пустил корни в сибирскую землю, да вот не выдержала душа под новыми веяниями, взял расчет. Дом у него был крепкий, но о продаже не могло быть речи. Кому покупать? И – Нюрка! Сама напросилась, потащила мужика к Андриану Изотовичу и завладела по дешевке солидной недвижимостью по соседству с Паршуком. Поскольку других жителей рядом не оказалось – бурьян на старых фундаментах, – навещала деда почти ежедневно: то печь возьмется-протопит, полы вымоет, а то стирку вдруг разведет, на удивление, оказавшись не только заботливой и работоспособной девахой, но совсем не брезгливой, под козлом старика и то убирала.

Впрочем, наводя порядок, живность рогатую и бесполезную, непригодную даже вместо собаки, выгурила в два счета и со всей решительностью, чему Паршук, не сказать, чтобы охотно, но подчинился. Козел оказался в сараюшке, вместе с горластым петухом и тремя рябыми курицами, которым вход в избу, в отличие от козла, был не запрещен. А с дедом дру-

гая беда приключилась. Неузнаваемо чистенький, обмытый, правда, не с первого раза, прямо в избе в деревянной шайке, с реденькой просвечивающейся бороденкой, он, чувствуя себя под Нюркиным доглядом непривычно беспокойно, не мог никак уgomониться и впасть в привычную по этой поре зимнюю спячку.

Так-то, по-старому, вдав в запечную дрему, не нарвался бы на Ваську, а теперь выкручивайся...

Тилипаясь следом за Нюркой, волокущей узел, старик жалостливо попискивал:

– Дак некуды навовсе, елки-мить, стервецу безоглядному, некуды ить, давай, волоки. Че же теперь и вправду, хоть пропадай, Васюха – король из пригона. Ить люблю я ево, Ваську-то. Еслив разобраться, то Василий мне сродственник, да Варька. Варька вовсе была мне ближэонько, она же Мотькина, едрена мить, с ложечки моей вскормлена. А Василий стервец – ууу! С отцом-то ево, Симаковым-товарищем, первыми красный флаг прибывали над крылечком поповской избы, самолично гвоздик ему подавал. Едрит нашу музыку, – ставя неправильно ударение в любимом слове «музыка», на «Ы», певуче тянул дедка, – мало хто помнит, а то вовсе давно позабыли, как оно начиналось в Круглово-деревне. Бо-оль-шой был флажок, Нюра. Прям, полная простыня на двоих. Не помню, откель мы ево извлекли и сварганили, но так на ветру понесло, я чуть не брякнулся с верхней верхушки... На мельнице, што ли, валялся припрятанным с пятого года – мы и в пятом уже колобродили... А Симакова не стало, со мной Васька жил... Жил, Нюра. Выходит, и Васька мне не чужой и Варька – родня. Вот и пойми, как закручивается... Двум смертям не бывать, Нюра, вноси в избу Васькино богатство, вдвоем от Настюхи смелей отобьемся.

Скакнул козлом с тропки, пытаясь обогнать Нюрку, распахнуть воротца, заваленные снегом, едва не по шею, увяз в глубоком сумете, взвизгивал беспомощно.

Подбоченившись, расставив широко толстые ноги, Нюрка хохотала звонко.

3

На ферме, как оглашенный, забивая другие спокойные звуки, затарахтел, едва не захлебываясь и в полном надрыве, тракторный пускач, Настя признала знакомые нотки, замерла, прижав руки к груди. Дышать было трудно, мешал, врываясь в неё и остро покалывая крепкий морозец. Не слыша, не чувствуя ни тела, ни рук и ни ног, словно вмиг отнялось и задеревенело, сползла Настя с крылечка, отпихнув повиливающего хвостом пса, стиснула руками голову. Шум тракторного мотора не исчез, бился в ушах, словно понимая состояние хозяйки, собака поскуливала, пыталась лизнуть ей руки. Настя качнулась в ее сторону, упав коленями в снег, обхватила за шею, завывла тоненько:

– Барбосик несчастный, зверюшка бессловесная! Одни мы с тобой опять на всем белом свете. Не было нам веры от честных людей и, видно, не будет. И тебя никто не любил за всю твою собачью жисть, и я, растеряха неумытая, никому не нужна. Ну, ладно, раз так! Ну ладно, барбосик, они у меня еще попляшут.

Опалял крепчающий к ночи морозец, но Настя не слышала его щипучего гнева, сердитого дыхания и острых покалываний, как была неодоетой, выскочила за воротца. Не добежав до магазина, свернула в проулок, с разгону ворвалась в избу Варвары.

– Пляши, знатная плясунья, добилась своего! – Рывком сдернув плат, рассыпала на плечи русые волосы.

Варвара волокла из печи большущий чугунок с варевом для поросенка. Ухват у нее дрогнул, из чугуна плеснулось на шесток, потекло по белому лику печи.

Настюха оседала на порожке.

Выронив ухват, Варвара кинулась к ней:

– Что с тобой, Настя? Настя?.. Да Господи, не молчи, заполошная. Че у вас снова? Ну, никак, баба, за ум не возьмешься – одни враги кругом! – Поймав ручку ковша, плавающего в ведре, раздвинув лед, она зачерпнула воды, поднесла к губам бывшей подруги: – На-ко, пивни, подружка ситцевая, лица на тебе нет... Господи, раздетая носишься, в одной кофтенке. Настя, что за беда, слова не можешь сказать!

Присев рядом на валенки, прочую обувь, сбросанную у порога, Варвара терла ладонями побелевшие щеки Насти.

Голова у бабенки болталась, глаза были закрыты.

– Господи! Господи, вот шалопуты, когда надо слова не выбьешь, – пристанывала Варвара.

Дотянулась до лавки, схватила шерстяной носок, и носком, размашисто и нещадно по всему лицу. Кругами, кругами.

Настюха очнулась, повела глазищами, полными гнева, ударила наотмашь Варварину руку.

– Уйди, завистница! – Поднялась, пошатываясь.

– Какая из меня завистница, Бог с тобой, подруженька бывшая! Не была я никогда завистницей чужому счастью, но и тебе не завидовала.

– Кто бы говорил – не завидовала! Так я поверила.

– Так нечему было, Настя. Ворованное оно было у тебя, счастье-то.

– Я денег тебе сулила, помни, Пластунову в ножки кланялась – увези только... Не-ет, ты наперед знала, фигура тонкая! До последнего дожидалась и дождалась, пляши «цыганочку» с выходом.

– Настя, что ты мелешь, ково я знала?

– Ушел он, понятно тебе! Узел на плечо... Как пришел, таким и ушел.

Поведя запрокинутыми глазами, убежавшими в подлобье, Настюха ткнулась лицом в косяк, колотилась о сырое стылое дерево:

– Варька, не могу без него! Совсе не смогу! Наплела всякое, накричала вслед, а сама... – Откачнувшись от косяка и медленно привставая, Настя шагнула на середину избы, снова, как только что у себя во дворе, у собачьей будки, обхватила голову руками. – Ты и с Ветлугиным сумела обрухатиться, хоть с кем сумеешь, а я... Негодная я давно рожать, хоть знаешь, завистница?

– Богом прошу, не сходи с ума. Откуда мне знать про тебя...

– С первого раза негодная, не знала она! Знала, признаваться не хочешь, кроме тебя никто про это не ведает по седнешний день. Ему детишек, надо, душа такая, а я – кадушка с протухшей капустой, выскребли за десять абортков. Петьку родила чудом, врачи не верили. Смейся, давай, если не знала! Хохочи на всю деревню!

– Вот что, подруженька... или как прикажешь тебя навеличивать! – Варвара прикрыла живот руками. – На исповедь сюда не звана, не тебе попрекать.

– Варя, миленькая! – Настюха цепко схватила Варвару. – Уехать бы вам! Оно, глядишь, и у нас сладилось бы как-то. Ну, что тебе тут?

– Пусти! – Варвара вырывалась, а вырвавшись, не отошла, лишь снова прикрылась понизу руками. – Некуда нам ехать, дом будем строить, сама убирайся.

Дернулась, скривилась Настя, словно по лицу хлестанули:

– Ага-а, не нагляделась еще, досыта надо! Настал твой час душу потешить.

– Нет, Настя, твоя беда мне радости не прибавит. У тебя свой берег, у меня – свой, а меж ними вода... как на мельнице под плотиной.

– Не доводи до греха! Средь ночи спалю! Живьем сгорите в своей мягкой постельке!

– Не сходи с ума, бестолковая, и у тебя сын растет!

– Конечно, не зря болтают, души нет еслив. С мужиками спала, как очередь отбивала, ни жару, ни пару. Нужен он тебе был, Васька-то! Да не нуждалась ты в нем, потому отпустила, слезинки не проронив. А я, дура, голову по сей день ломаю: да как это так, железная она, что ли? Другая глаза бы мне выпарапала, морду искровенила, кипятком ошпарила на сто раз, а ей хоть бы хны.

– Уйди, Настя! – Варвара вспыхнула гневом, подалась к Настюхе. – Не вороши угли, они горячо могут брызнуть.

– Да ну? В тебе угли? Откуда им взяться, где нет ничего!

– Проваливай, говорю...

– Уйти?

– Уходи... Ой, уходи!

– Уйти? Выгоняешь?

– Я тебя не звала.

– А если я на Савку глаз положу! Чем не баба! – Настюха вызывающе повела плечом, выставила грудь. – Не заменю, устоит?

– Брысь, кошка гулливая!

Неожиданно Ветлугин вышагнул из горенки; оказывается, он был дома и слышал Настюху.

– А ну, не просили... Не вмешивайся, Савелий! – вскрикнула Варвара.

– А ты дома, случилось, Савушка! Вот к месту-то!

Савелий Игнатьевич шел на нее вздыбленной горой, поднимал руки, словно собирался вцепиться Насте в горло и придушить:

– Проваливай, паскудница... как было сказано. Штоб забыла эту дорожку!

Опротеть выметнувшись за порог, Настюха кричала уже из сеней:

– Не будет вам счастья на этой земле. Чтоб те не разродиться вовек, фанера плоская! Угореть бы вам насмерть, сколь вас осталось еще!

Настя плакала горько и безответно.

Варвара сдернула с вешалки фуфайчонку, кинулась вслед, закричала:

– Стой, дура заполошная! Куда голяком, куфайку возьми.

Савелий Игнатьевич перехватил было ее на пороге:

– Куда ты после всево, Варя?

– Дак видел, голая, Савушка! Ить баба, застудится, куфайку хоть брошу, че же теперь.

Потом они лежали молчком и знали, что не уснут, не поговорив.

Вдруг показалось, что шевельнулось в ней тайное, чего хоть и ждешь, но верится далеко не сразу. И даже как бы вовсе не верится, а мерещится бльмающим далеко-далеко невозможным сиянием млеющей радости, плавится на душе, обволакивает каждую растревоженную кровинку жаром и буйством разрастающихся желаний, противящихся благоразумию и не желающих покоя – ну, бывает ведь, с кем не случилось!

– Хочу я, Савушка...

– Што? Што, радость моя?

– Хочу и хочу, сама не знаю...

– Надумашь, скажи. Все-все исполню.

– Ой, и не знаю, исполнишь ли, любя моя!

– Да как бы... Мать тебя поперек! Да как бы я не исполнил – в лепешку расшибуся...

– Ну, ладно, потом, опосля.

Сна нет и не буде на всю эту великую ночь ее бабьей радости и ликования.

Ах ты, чертова ворожея, появишься только...

Варвара прислушалась к себе и что происходит где-то под самым сердцем...

И еще глубже.

Глубже, глубже, как вообще не бывает!

Она лежала у него руке, но Савелий Игнатьевич терпел, словно угадывал ее испуг. Варвара прижалась плотней, отыскала руку:

– Избу-то, Савушка... Не заговариваешь больше.

– Не к чему, когда решено, перерешивать я не умею.

Известие, что Ленька пристроился в городе при сельхозинституте и вроде бы учится вечерами на каких-то курсах, вновь повернуло к нему людей, но в отношениях с Варварой что-то будто нарушилось. Так хорошо обмозговав задуманное строительство вплоть до деталей, после бегства Леньки, считая во многом виноватым себя, он не решался подступаться с ним и тревожить Варвару. Да и к чему в создавшемся положении: Ленька в городе и едва ли вернется, Надька в интернате, двоим в старой избе – разгуляйся. Он жил ожиданием новых перемен в Варваре, не желая верить, что Симаков для нее еще что-то значит, и все боялся, не мог не опасаться невольного поворота ее мягкой и чуткой души к беспокойному прошлому.

Захолодев, испытывая непривычное напряжение и внутренне соглашаясь, что у Симакова на Варвару больше прав при живом взрослом сыне, добровольно уступить ее Василию, Савелий уже не мог. Она была не просто нужной, она стала самым дорогим человеком, без которого ему невозможно, и стала женщиной, носящей под сердцем его будущего ребенка.

И он уже ощущал у себя на руках эту славную кроху, и видел свое, не народившееся дитя выросшим. Похожим хваткой, силой, дерзостью, на деревенских парней-забияк, и больше на Веньку, чем на мягкого и впечатлительного, вялого Леньку. Оправдание откровенному эгоизму находилось немедленно и прагматично: во все времена мужик рассчитывал и должен рассчитывать, прежде всего, на физическую силу, ее в первую очередь уважал в других, и не мог не мечтать наделить ею долгожданное чадо.

Столь архаическое желание держалось в нем и не могло не держаться хотя бы потому, что в повседневной жизни по-прежнему важнее всего ценились крепкие руки, могучая спина, умение ворочать тяжелые лесины, и что у него родится крепкий наследник, не вызывало сомнения.

Глава вторая

1

Мужичья основа бытия проще простого, исполнительна и неприхотлива. Это в городах она бандитская или пролетарски бузотерская, с какими-то политическими требованиями, в деревне особенно никто сроду ничего не требует, живет и живет. Меняется власть, но совершенно при внешней не унимающейся политической трескотне, призывах и обещаниях, не меняется сама крестьянская жизнь, продолжаясь как-то не рыба, ни мясо. Деревенская человеческая физиология требует своего и люди подстраиваются под эту потребность жить и существовать, дышать и рассуждать, думать про себя и думать вслух, не получая просветления, кроме лезущих в уши кричалок, лишь напрягаясь и напрягаясь измученным существованием. Паршиво так жить, утомительно, но иначе ведь не получается, значит, живи, как удастся и как выпадает кому весело и беззаботно, пользуясь кормушкой и случайным везением, кому на последнем пределе и страхе. Вот изменилось снова где-то высоко-высоко, за Кремлевкой стеной и радио забалаболило о гвардии Ильича, продолжателях дела «железного» Феликса, в Политбюро будто бы появились свежий человек, «феноменально активный, жесткий, обладающий несворачиваемой целеустремленностью мощного танка», сообщалось победно об усилении борьбы с коррупцией в партийно-советском аппарате, порожденной безответственностью и абсолютной безнаказанностью в брежневское правление. Ну и что... если у него есть Варвара, о которой вспомнил вдруг Василий Симаков. Появилось сообщение о заседании Политбюро, посвященное обсуждению писем трудящихся, недовольных беспорядками на производстве, нарушениями в распределении жилья, приписками, расхищением государственной собственности и другими противоправными действиями, чего у него на пирамиде сроду не было и не будет, что им делить? Развернулась кампания так называемых отзывов – излюбленный прием демагогической системы очковтирательства и массового самоуспокоения новой волны подписантов и политических шулеров, а ему какое дело? Попросят и он напишет, как все, не обратятся – не заплачет, значит обошлись другими. Предложения по усилению санкций в отношении нарушений законности и справедливости демонстрировали намерение нового руководства страны энергично бороться со всеми видами преступной деятельности, невзирая на лица, родили заранее неработоспособный закон «О трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями, организациями» – хорошее дело, а что без этого не понятно, что и к чему, без обращения. Радио на столбе посередине деревни, не выключишь по своему желанию, наращивает и наращивает наступательную мощь на равнодушного обывателя. Молчащих стадно, понимающих, что неспособны на серьезное вмешательство в процесс очередного возвеличивания власти и старичков-вдохновителей, было привычно больше – спать сильно мешает, но терпеть можно. Шумливых и бессмысленно бузотерящих, чаще совсем не по сути, полно, какие-то жалкие прилипалы, вот-те и жалобы, да как-то в расчет не берется. Восхищающихся «мудростью» дальнзорких вождей новой волны, устроившихся удобно в чьей-то благодатной тени более чем предостаточно для уверенной жизни власти, уверенной в своей боеспособности управлять государством и обществом. Что же в конце концов происходит?.. Радио штука полезная, да толкает куда-то совсем не туда, включаясь раньше пробуждающегося по утрам мужичьего сознания и выключаясь за полночь. Ленка вырос, Надюха растет, а кто бабенке помог, при чем Симаков, совсем не при чем. Спрашивал, спрашивал иногда разогретого Андриан, что происходит в стране не имеющей нравственного вдохновителя, которой, усыпленной величием взошедшей «звезды», в другой уже не нуждается, этого теперь надо бы пережить-перелопатить восторгами или проклятьем, и причем тут деревня, живущая как бы на обочине этого шумного водоканала, удовлетворительного ответа

не получил, и Андриан как бы в окончательной растерянности. Страна рабствующих особей, способная выдержать пытки и лагеря чужих и своих животных приматов долго еще не сможет услышать голос плачущего ребенка, брошенного и властью и матерью на самовоспитание.

А-уу, люди, вы где? На Подмосковском пятачке тусуетесь? «Подмосковные вечера» распеваете, а мы так все «Ревела буря, гром гремел!»

Откуда все это?

Конец массового бессмыслия когда-нибудь закончится или мы обречены жить не доструганными, не доделанными, не долепленными Богом и появляющимися время от времени лихими народными «просветителями», толкующим Маркса-Ленина, совсем не по Марксу и далеко не по Ленину, потому что и на нормальное токовище так же не лишне скопить хотя бы немного умишка.

Мысли Грызлова не соответствовали его устремлениям, оставаясь слишком общими для случая и момента, Андриан жил приземленнее.

2

Очередной день завершался, Варвара грела бочок и усыпляя, радуя присутствием, встревоживший нутро Васька Симаков уплывал. Где-то в глубине далекого сна грубоватые, но чуткие руки вращают веретено, сучится тонкая белая нить, в избе так натоплено, что плачут замерзшие окна. Душно. Чадит семилинейка с огрызком стекла склеенного полоской газеты. Пахнет овчиной, горячим кирпичом, запечной пылью.

И грустные песенные голоса:

«Ах, барин, барин, добрый барин,

Уж скоро год, как я люблю,

А нехристь – староста, татарин,

Меня журит, я терплю...»

Все плывет смутой, грезами, топчется рассерженно на краю полусонного осознания, усиливая нарастающую тревогу, что это не во сне и еще больше становится жаль, кто столько терпит от злого и наверняка краснобородого татарина. И если не страшно до беспомысленности, как бывает невыносимо страшно, когда остаешься в сгущающемся мраке избе один одинешенек, то причина в одном – в доносящихся голосах: ровных, уверенно сильных, даже могучих... из радиорупора, переходящего вдруг на жалобно могучие стенания и далекий волчий вой.

«Уу-ууу!» – тужится-завывает ветер-злыдень, ветер-помело.

Шебаршащая осыпь в выстывшей трубе. Осыпается что-то мелкой осыпью, как рождественское гадание рассеваемого жменей зерна. Чуть слышно дышит наволгшая дверь, обросшая понизу наледью. Приотворяясь со скрипом, она пропускает могучей волной через порожек клубы сизого морозного тумана, низом расползающегося по избе.

Песня стихает, веретёна набирают большие обороты, накручивая на свое вспухающее тельце бывшие истории человеческих судеб и словно бы связывают канатами вечности полное тайн прошлое, не со всем понятным настоящим и вовсе загадочным будущим, которое тоже мнится разбойным. Савке не хочется, чтобы песня обрывалась, и сильный голос мчится на встречу его желаниям, затягивая: «Вот мчится тройка удалая вдоль по дорожке столбовой...» Песню подхватывают, будто прислушиваясь, что же делается там, на столбовой дороге, которая совсем близко, за стеной...

Много песен плавают под звездами в позабытой родной стороне, много боли стнет в беспомощном ребячьем сердчишке...

«Ма-ам, дай калошики на улку сбегать! Дай калошики, ма-ам», – канючит кто-то до боли знакомо Савелию писклявом голосом. В избе светлынь не бывала. Такие мрачные недавно бревенчатые стены вовсе не мрачные. Рыжий мох в пазах, смолка прозрачная. От окошка

к печи выстлалась золотистое полотно, излучающее немислимую радость. На теплой печи становится вдруг холодно, кожа покрывается пупырышками, хочется нырнуть прямо с печи в тот ручей на полу, в ту кипящую ясь, в буйную свежесть.

А мать бегаёт, бегаёт с утра до вечера. Мокрая, нараспашку. Глаза блестят, будто разбогатела немислимо, будто дали ей кучу новехонькой одежки или ещё невесть чего недоступного всю зиму. За окном, на улице шум, шум, шум! Шум особенный, в кипении самого воздуха и ослепляющей радости света. И голоса, голоса; весна — неумная радость, что выжили! Словно все подряд опились браги, наполнились удалством и лихостью, море всем по колено. Чавкает обувка, плеск воды и смех. Смех...

«Мой миленок, как теленок,

Кучерявый, как баран...»

«Меня милый провожал,

Семечками угощал...»

«Ты подружка не сердися,

что миленка увожу...»

По поводу и без, как переключка переживших ещё одну непростую уральскую зиму... Так нахлынуло и как выплеснулось на первого встречного. Все в движении, на Луну готовы взлететь.

«Ма-ам, ну дай калошки я тоже на улку хочу. Дай, мам!»

«Потерпи, Савушка, потерпи, родименький, — торжественно и напевно спрашивает невидима мать. — Вот подсохнет дня через два на полянках, вволю набегаешься босиком без калошников. Впереди и весна, как девка красна, и лето-душа работой согрета, и осень с буйными красными праздниками».

«Я шас хочу, вон, сколько солнышка... аж до печки».

«Ну и ково смотреть, грязюку липучую? Ни пройти, ни проехать, глянь на меня — по самые уши».

«Хочу-уу!»

«Так нету же калошников, обменяли на хлебец. Уж босиком што ли выскочи на минутку! Там же, где лывы, досточки, кирпичики брошены, все проходят, и ты попрыгай туда и обратно, если уж так невтерпеж».

На воле, на улке светло. Улица — сплошное месиво: где нет луж, там колеи по самые оси. Телега ползет, увязая по ступицы. Сколотый лёд кучами у калиток и во дворах. Даль туманна, мельтешит испарениями, но как радостно на душе, как все поет и рвется... не важно куда. Лишь бы лететь и лететь, очарованному свершившимся таинством рождения весны — долгожданной весны.

— Совсем ты стал малахольным, Савушка, прям как лунатик! — смеется оказавшаяся подмышкой Варвара, — я дак сроду такого не помню. Ха-ха, вот помнил бы!

— Нельзя не помнить! Вовсе нельзя, душа совсем зачерствеет, — бурчит Веллугин, не понимая, что успел рассказать, и почему перед ним вовсе не Варвара-краса, а вылупившейся из какого-то небытия, никогда не возникавший до этого в памяти деревенский конюх Елоха, в каком-то потрепанном ватнике, с жердочками на плече и топориком за опояской.

Вот и все сермяжное прошло у великого народа, умело и настойчиво выворачиваемое шиворот навыворот: ознобно-холодные дни холодного времени. Однажды дав чувствам волю...

Большая эпоха или пустая придумка и наговор обеспокоенного сознания, предчувствующая какой-то болезненный крах?

А было ли что-то иное у русской деревни под сермяжным узурпаторском самодержавием до нынешних дней, сменивших лишь песни?..

Морозы прижали рано, но по любой погоде, словно винась, как случилось с Леонидом, он старался вырваться на центральную усадьбу, привезти Надьку на выходные. Надежда приносила в их помрачневшую жизнь некоторое оживление, много и доверительно рассказывала о школьных проделках. Он искренне смеялся, как оживала Варвара, воскресение катилось светлым праздником, но уезжала Наденька, и Варвара снова впадала в меланхолию.

Услышав ее странный вопрос, касающийся нового дома, оставаясь в каком-то неоконченном споре с Василием Симаковым, еще с кем-то, защищавшем Симакова, он повернулся будто бы несильно, но кровать тягуче и надсадно охнула, сказал сдержанно, в полголоса:

– Дак... скомандуй... Тако дело без команды не делается.

– Вроде, рамы хотел заказать?

– Заказано давно.

– Ну, ладно... А двери?

Снова скрипнула кровать:

– И двери с карнизами да наличниками, и скобы, и лиственницу – пятидесятку на половицы, сороковка нам не пойдет... как и пихта, хоть босым ногами теплее... Но, но, знаешь, вопрос, лиственница или пихта? Тебе лично как?

– Нашел кого спрашивать, ко мне – о коровах.

– Ну, лиственница как бы надолго, почти на века нет износу, а пихта ногам теплее ходить... В чем фокус.

– Нашел хитрость! Босиком что ли ходим? Нам под старость босиком!.. Делай, чтобы прочней.

– Ну—к решено, будет домина тебе, спи, давай, беспокойна душа.

Варварины волосы источали приятный аромат лесных душистых трав. Запах ширился, проникал в размягченное и враз подобревшее сердце Савелия Игнатьевича, ложился на грудь мягкими волшебными туманами, похожими... на овечью шерсть.

Глава третья

1

Снега валили и валили, ровня сугробы с крышами. Заметало шоссейную дорогу в город, проселки на центральную усадьбу, соседние деревни, в райцентр. Снега, снега, снега долгой сибирской зимы. Величие и покой умиротворенной глухомани, успокаивающей беспокойное сердце. Выстуженное морозом голубоватенькое небо. Невесомый горизонт, березки, обвешанные куржаком. Сладость и прелесть, когда в жизни ровно, прилично, достойно.

Но в уплотняющихся заносах и суметах, не давая покоя Андриану Изотовичу, бльмали желтые окна, дымились печные трубы, дружно побрехивая, устраивая переключку, несли привычную службу дворняги, самоотверженно верные человеку. За деревней, в белых полях, рьяно управлялся с навозом Данилка, пять тракторных агрегатов дружно бороздили поля самодельными снегопахами, сотверенными в бывших совхозных мастерских неизвестно когда и переделанные Хомутовым с помощниками, Таисина коровья родилка наполнялась помаленьку новорожденными телятами, началась подработка семенного материала, исправно поступал на пилораму строевой лес. Упав, было, с первыми морозами, надои молока снова выровнялись, что тут же не преминула отметить районная газета, похвалив за сверхплановую сдачу молока и описав подробно метод запарки соломы, назвав его революционным, хотя он был известен деревенскому люду еще в молодость деда Паршука.

Пережив очередную досаду, связанную с откормочным молодняком, доставшую до сердца, Андриан Изотович вошел в привычную колею будничных дел, снова ходил уверенно и стремительно, поругивал и покрикивал, подгонял и устраивал нагоняи.

На него не сердились, а Пашкин, как главный оценщик деревенских событий, удовлетворенно резюмировал:

– Давай, Андриан, не падай духом, лучше уж так, чем никак... если не можешь иначе, от деревни-то вроде бы отступились.

Под Новый год пришло и вовсе неожиданное сообщение – бригада занесена на областную Доску почета и выдвинута участницей Выставки Достижений Народного Хозяйства в Москве. Грызлова поздравляли, завидовали, и ему было вроде бы приятно подышать воздухом хлебоборобной славы, достигшей зенита когда, готовясь поплатиться партийным билетом, на нее невозможно рассчитывать.

Свалившуюся славу он использовал с толком и по-своему расчетливо. Пробил, наконец, официальное разрешение на очередное открытие пекарни, решил вопрос о замене старенькой трансформаторной подстанции на более мощную, развернул строительство новой улицы, так и названной сельчанами «Новая». Заметно прибавилось техники, не сняв его душевного беспокойства и нарастающего недоверие к самим переменам, которые он ощутил, и которые продолжали казаться случайными и непрочными. Техника – в любом случае, будь Маевка или провались в тартарары, – нужна земле. Подстанция – тоже не ради пилорамы и самой деревеньки, а, скорее, из-за механизированного зернотока, основу которого составляли два вместительных складских помещения, позволявшие складировать на месте более половины зерна, предназначенного государству. Затрачиваемые средства на строительство новой улицы – и это не тот поворот, который вселял уверенность; в районе будто не замечали его самоуправства, особенно с лесом, и что финансовые возможности, не без помощи директора, изыскивались непосредственно в совхозе, за счет собственного обустройства, что не могло не раздражать местное руководство разного уровня и других управляющих.

Шаткость положения не могла не вызывать тягучую, одуряющую временами бессонницу.

Главной радостью оставалась пекарня, которую Андриан Изотович, как и обещал, поручил заботам Симаковой Насти, и которую усилиями старого Хомутова должны были пустить со дня на день.

В избе было прохладно. Вспомнив, что вечером так и не поинтересовался, как дела у Никодима с запуском долгожданного объекта по части снабжения населения хорошим хлебом, как было когда-то, он без особой охоты вылез из постели, старательно направив на широком армейском ремне бритву, побрился и, выйдя за ворота, увидел набегавшего механизатора.

– Ну! Ну, пошли, я – за тобой, запускаем главную печь, – еще издали говорил Хомутов, заметно отклячивая утепленный обмотками радикулитный зад. – Айда, принимай работу, вчера Ветлугин удачно помог. На дымоход мы железо поставили – старый короб нашли у кузни и чуток нарастили. И формы валялись на чердаке. Закрутили, Настька с тестом уже больше часа колдует.

Будто не доверяя сообщению Хомутова, Андриан Изотович тряхнул головой и спросил:

– А тестомешалку? Тестомешалки-то нет.

– Ясное дело, где сразу возьмешь? На двести-триста буханок для первого раза, на пробу, чтобы тебе душу согреть, Настюха вручную решила – тоже не терпится. Нюрка помогла... Да ты что? – не понимая сомнений управляющего, засуетился Хомутов. – Гля, дымит на полную!

Из квадратной жестяной трубы валил густой черный дым – на пробу и полную сушку печи топили углем. Андриан Изотович в смешанном чувстве, явственно, вроде бы, ощущая запах свежее испеченного хлеба, шагнул резче обычного, будто срываясь на бег, и охнул. Тело его напряглось и сразу обмякло, лицо побледнело, он медленно осел на снег. Губы синели, рот оставался широко раскрытым, жадно ловящим воздух.

– Андриан! Андриан, в душу твою! Не пужай нас, ради Бога, ты что же, мужик... белены будто объелся. Да что случилось с тобой? – не зная толком что предпринять, метался беспомощно Хомутов; толкнув дверь вовнутрь пекарни, заорал: – Настя, Андриану плохо... Воды, что ли, дай, язвы в душу.

– Домой, – вымолвил с трудом Андриан Изотович. – Прижало... Никодим. Добегался... всмятку.

Хомутов поднатужился, опасаясь за собственную спину, приподнял бережно, закинув его руку себе на шею, внес осторожно в пекарню.

Опустив на широкую лавку, распорядился:

– Настя, дуй в контору. Нюрку гони за Таисией, а Семеныча на рацию, врач срочно нужен.

2

«Прижало» на этот раз крепко, не помогли ни валидол, ни валерьяновый корень, с «того света» он возвращался долго и трудно. Поручив коровью родилку заботам Варвары, Таисия так же перебралась в райцентр к дочери Светлане, окончившей мединститут, и ставшей уже заведующей отделением районной больницы, по несколько часов ежедневно проводила у постели больного.

Закончился январь, отрещал морозами февраль-окоротыш, поманил мягким снежком и тут же заковал его в панцирь бокогрейник-марток, накатив, наконец, шумливой масленицей: перестроив почти всю жизнь на свой календарь с божьими властью так и справилась.

Весна в Сибири начинается с масленицы, с Тимофея окончательно пробуждая землю, засыпающую в сентябре на Воздвижение. И все же масленица – праздник языческий, с церковью не в ладах и подвергается гонениям. Но был и остается, живет и бузотерит, не хуже знаменитых мексиканских карнавалов (масленица объеуха, деньгам приберуха).

По поверью – это время разгула нечистой силы, пробуждающейся после зимы, во время которой проводить земляные работы не разрешалось: ни пахать, ни копать, ни строить и огора-

живаться. Поэтому весной особенно часты обряды по изгнанию злых духов и нечисти. Повсеместно разводятся высоченные костры, связывающиеся в народном сознании с торжеством солнечного света над нечистью и верой на будущую защиту посевов от града.

Приближались обряды первого выгона скотины на пастбища, начала обработки земли под посевы и первый день сева.

На весну падал Великий пост (Не всё коту Масленица, будет и Великий пост), воспринимавшийся нашими предками как благословенное время, которое Господь ниспослал грешному человечеству для очищения от скверны.

Хозяйки тщательно выметали избы и двор, сжигали старые вещи, отслужившие срок.

– Ты машину-то заказала? – допытывался Андриан Изотович накануне женского дня, совсем не вспоминая накатывающуюся масленицу. – Приедет Курдюмчик?

Таисия отвечала, что машина придет и без этого, уж непременно кто-нибудь примчится проведать, и ввела его в курс обрядовой старины, возбудив снова мужа.

– Ну, вот и масленица в деревне – хоть до кулачных боев. А я тут с тобой, чем попало... – Решительно поднявшись, объявил непререкаемо: – Хватит вылеживаться, лучше не сделают. Собирай ложки-поварешки, иду оформляться на выписку.

Он был явно слаб, сердце на каждый шаг отдавалось испугом, но форсисто крепился как молодой петушок с едва прорезавшимся голоском, не показывал виду, что ему плохо. Понимая, что не худо бы полежать – просто, вытянув ноги, побыть в покое и ровном забытьи, отваяться за недоиспользованные и вовсе неиспользованные отпуска, – бездействовать он больше не мог, обрыдла сама больничная обстановка, хотя рядом всегда находилась дочь и ее муж – главный терапевт больницы.

Не плохо изучив характер больного, лечащий врач долго не спорил, и выписка завершилась в считанные минуты: Таисия опомниться не успела, как Андриан стоял перед нею в дошке, распахнутой с вызовом.

– Тебе здесь, гляжу, понравилось больше, чем мне, – гудел он вызывающе молодецкато, – и домой, вроде, не хочешь, масленица из телячьей родилки.

Таисия смахнула слезу, застегнув ему дошку и старательно укутав горло, прижалась к груди:

– Ворчун ты мой беспокойный... Ох, и ворчунок ты у меня, Андриан, знал бы хоть кто!

– А ты не знала? – выставлялся грудью Андриан Изотович. – Наво все не знала, с бухты-барухты я на тебя свалился? – И опасливо как-то шел на нее.

– Знала, знала, – сказала она поспешно, на всякий случай, отступая к порожку. – Пошли уж, каменка банная.

– Что это?

– Горячая – обжигает, о холодную обдерешься.

– Топи почаще и будет порядок... – Сделав не предугадываемый Таисией резкий шаг, он сцапал ее, стиснул – косточки затрещали, шепнул горячо, как в давнее-давнее время: – Завтра же сходим, давно дожидаюсь.

– Ну вот, это ты, узнаю сивого мерина, – обмякла Таисия.

3

Едва ли кто видел ее такой обессиленной и беспомощной, как в минувшие недели, опасющейся за жизнь безалаберного мужа, безжалостно сжигающего себя. Умела Таисия блюсти чувство собственного достоинства, – необходимость отвечать за свои поступки прививались детям в семье сельских учителей – ее родителей – с малых лет. Из далекого детства она вынесла, как нечто неповторимое и памятное, воспоминания о зимних вечерах с бесконечными пыльными мечтаниями о будущем человечества, самой земли. И в семье, и обществе, с которым

Таисия имела дело только через уважаемых в деревне родителей, в последующие девчоночьи годы, особо не задевавшие до какого-то времени, текущую сельскую жизнь она воспринималась достаточно отстраненной. Но откровенно сочувствовала грубеющим на глазах молоденьким сверстницам, оказывающимся после школы на ферме, в свинарниках и коровниках, навсегда расставаясь с былыми мечтаниями.

Не окажись на пути Андриана, жизнь ее могла бы пойти другим путем, родители готовились отправить в город, к родне, и посодействовать с поступлением в институт, но Андриан, вскруживший голову...

Не сразу поняв, что Андриан – совсем другой человек, грубее, практичнее, неподвластный ее девчоночьей сентиментальности ни в каком состоянии, она сумела избавиться от детских иллюзий тонкого психолога-воспитателя, подражающего педагогу-отцу.

Жить с ним было непросто. На всякую его грубость, она пыталась воздействовать демонстративным отчуждением, сутками не разговаривая. На Андриана подобный метод воздействия совершенно не действовал. Пришлось, по совету опытных односельчанок, самой осваивать и переходить на более понятный ему язык в виде нарочитой грубости, излишней шумливости и ворчания, напрочь отсутствовавшие в отцовском доме, но ставшие необходимыми в новой семейной жизни, действовали сильнее и впечатляющей.

Не святым он был, ее муж, ничем не лучше и не хуже других. Будучи виноватым, сильно, безобразно виноватым, не признавал и не принимал ее показного отчуждения, потому что вообще не любил показное. Умея грешить, умел искренне, честно каяться, всегда готовый к суровой расплате.

Так случилось в самый горький час их молодой жизни, когда им завладела Настюха – завладела надолго, – считая нужным похвалиться: «Андрианка-то, бабы, опять торкался вечор. Ха-ха, пустила, ведь бригадир!» И словно в насмешку, бесстыдно чередовала его с другими, только еще более распаяя мужика, не терпящего соперничества.

О-хо-хо! Пережитого и выплаканного, если оглянуться; кому другому – за четыре полных жизни не выхлебать. Одного ору беспричинного – просто, на работе не доорал, – пришлось выслушать...

Он и женился-то потому, что Илья Брыкин, главный ее вздыхатель, вдруг сватов решил засылать. А как прознал, что ее отец не против породниться с Ильей, перечитавшим за последний год все книжки в их домашней библиотечке, и вздыбился, и пошел оглоблей утверждать права на нее.

Поверила она жару его воспламененного сердца: ох, как поверила! Отказала Илье, впервые поссорилась с отцом, добилась права выбора...

Наверное, с Ильей ее жизнь протекала бы намного спокойнее, о чем она никогда не жалела. Не понимая и совершенно не принимая, как верная, любящая жена способна бросить изменившего ей мужа, она, скрепя сердцем, терпела его страсть к Насте, и еженощно зывала к Богу, старалась ничем не унизить себя. А когда терпение кончилось, когда насмешки стали раздаваться не только вслед, но в глаза, пересилив стыд, наплевав на высокомерную гордость, устроила всенародную «баню».

И ни где-нибудь в высших инстанциях, на планерке!

Андриан рвал и метал, грозился всячески, но перешагнув однажды порог нерешительности, она стояла незыблемо и твердо: прознаю, снова был у рыжей шалавы, снова приду и снова выставлю на посмешище. Понадобится, до района доберусь, кобелина с партийным билетом.

Особенных возражений с его стороны не последовало – бабы, сманивающие чужого мужика для личных утех, тоже ведь со своей червоточинкой, нормальному остолопу они приедаются именно тем, что навязчивей жен, становясь непосильным хомутом. Этим и надо пользоваться, выстраивая линию своего вразумления мужицкого мозжечка, скособочившегося неожиданно, а не строить обиженную и ногами в горячке сучить. Пришлось сказать, как отре-

зять: «Хватит деревню смешить и меня позорить, не нравятся мои претензии, дверь за спиной, уходи на все».

Но она же, когда дело дошло до персонального вопроса – постарался какой-то доброт-сквалыга – съездила куда следует и заявила, что к мужу претензий нет и не было. Какое имеете право разбирать его личную жизнь по чужому доносу и ставить ее, честную женщину, мать, в безобразное положение?..

Заплакала она лишь тогда, когда, вернувшись из района и поужинав, Андриан позвал ее... на речку, под ветлы.

Припала к его плечу, вот как сейчас, мелко-мелко затряслась, всей душой поверив, что после многих мытарств и переживаний, позади еще одно крупное испытание...

Не во всем складным и ровным он был – ее Андриан! Далеко не во всем! Временами грубый и деспотичный со всеми подряд, а уж с ней... Сколь вражды возникало вокруг, сколько угроз выслушано! И странное дело, те же, кто больше других, бывало, ненавидел, кто угрожал и посылал вслед проклятия, после жарко и душевно наговаривал ему приятные, благодарственные слова.

Старый Савченко уехал в Славгород еще до всеобщей катавасии с деревнями, уехал потому лишь, что не ужился с ним, как с руководителем. Слесарь, сварщик, отменный кузнец, он – обладатель настолько ценных деревне профессий, – ставил себя высоко по праву, и по праву рассчитывал всегда на повышенное внимание. Андриан Изотович видел в его поведении откровенное зазнайство, высокомерие в поведении с другими, что, конечно же, проскакивало от случая к случаю, желание больше урвать, тем дать, отношения их накалились до предела, Савченко, испытывая нервы управляющего, козырнул заявлением.

И мало кто понимал, почему Андриан, уже в то время отчаянно державшийся за каждого работника, подмахнул заявление, отпустил такого мастера без всяких уговоров. Не уступил ценному специалисту по деревенским меркам в незначительном, когда шел на несвойственное угодничество перед каким-то Игнашкой Сукиным, прохиндеем и тунеядцем. А Таисия поняла в числе первых, что Андриан просто-напросто устает от людей не менее сильных и упрямых, находящихся в его подчинении, не желающих безропотно подчиняться. Кто своеволен и дерзок, дает повод другим, не имеющим достаточных оснований, проявлять своеволие и дерзость. Что с простым, не зазнайстым человеком жить ему проще, чем с тем, кто вносит разлад, не желая ничем поступиться, как поступает сам.

Не прибавить и не убавить: так уж он был скроен и, подавляя подобным образом человеческое достоинство (тоже ведь странная штука, если покопаться серьезно), самодурствуя сам, самого человека, как ни странно, продолжал уважать.

Савченко скоро разобрался в себе и понял, что деревенский он, и с Грызловым, оказывается, жить куда проще, интересней, чем с всякими другими уравновешенными начальниками без искры в душе. Что сама судьба, видно, поставила Андриана Изотовича над людьми, и пока он сверху, его нужно уметь выносить и принимать, нисколько не опасаясь за собственное будущее...

Многие, многие держались за него с непонятным, трудно объяснимым на первый взгляд упорством. Невероятно много вытерпев как от руководителя, они продолжали испытывать в нем точно такую же потребность, какую испытывал в них он сам, и Таисия это хорошо понимала, осознавая и то, что далеко не всякая женщина смогла бы ужиться с таким, а она могла.

И не потому, что была покорной всегда, терпеливой, безропотной, а потому, скорее, что доставало ума, оказалась подготовленной к долгой, не всегда привлекательной семейной жизни, умела миловать Андриана Изотовича точно так же, как он миловал и прощал других, и умела наказывать достаточно больно и ощутимо.

Не на ссорах строится семейная жизнь, а на взаимных уступках; жить семьей – знаете ли, не ши из чашки хлебать и нахваливать или не нахваливать.

По-своему нуждаясь в нем, она понимала, как нуждается в ней он, что было для ее души приятнее обманчивой семейной тишины и мнимого постоянства покоя.

Она многое передумала и перебрала в памяти из их отношений за долгие дни его неожиданной зимней болезни. Снова огорчалась и украдкой плакала. Но стоило только представить, что его больше никогда не будет, как наваливался неизъяснимый панический ужас, предвещающий не просто конец всему, ради чего она жила, а окончание ее существования. Несправедливый, неласковый, он был нужен ей и принадлежал только ей, выстрадавшей право на его бессмертие.

Да, именно – на бессмертие, ради ее личного счастья, пусть даже корыстного...

Что бы там ни говорили, а его буйная жизнь принадлежит ей и более никому. Только ей, и не уступит она его никому, включая деревню, которая всегда у него на первом плане.

Не надо ей никаких других благ, ведь и раньше она не пользовалась особыми преимуществами жены руководителя, начиная свой трудовой путь, подобно деревенской женщине той поры, – с доярок, оказавшись на более легкой работе, в телятницах, в пору беременности. В телятник вышла и после родов, подменяла заболевших доярок, долбила мерзлый силос, откапывала сено на сеновале, бегала на очистку зерна и на сенокос – какие тут преимущества?

Ругалась принародно с Андрианом-бригадиром и Андрианом-управляющим, как схватывались с ним-гегемоном ее подружки, требовала своего кровного, как этого же добивались другие.

Случалось, сыпала на его голову женские проклятия безоглядней многих – вот и все привилегии жены управляющего отделением.

Ну, дома иногда брала верх...

О его сердце она подумала с опаской, отправив первые машины молодняка, когда он вернулся домой непривычно подавленным и отрешенным, отказавшись от рюмки, предложенной ей из чистого сострадания.

Чужим и холодным она привыкла видеть его, знавала, но такая подавленность и опустошенность во взгляде оказались непривычными и устрашающими.

Нет слов, испугалась; сильно дернулось сердце, так и оставшееся в неослабевающем напряжении, не исчезнувшем до конца.

Выведя Андриана Изотовича за больничный двор – теперь уже снова она вела, а не он ее, – рассудительно предложила:

– Походи осторожненько или посиди под березками, а я на перекресток: надо попутку перехватить.

– Не надо, – ровно, сильно сказал Андриан Изотович. – Вот пойдем и пойдем... Пока не подберут.

Он засмеялся по-юношески чисто.

Глава четвертая

1

Новость, что Андриан Изотович возвращается домой с «того света», обогнала, ее раньше времени сообщила беспокойная совхозная рация. Дальнейшее сделал громкоголосый Нюркин зык, согнавший на заснеженный конторский лужок все живое маевское население, включая любопытных мальцов. Машин прошло много, а на обычный лесовоз никто не обратил внимания: катит и катит, дорога на пилораму не закрыта. Но когда посредине пути в осинничек, ЗИСок кышкнул тормозами и с радостным криком, как оглашенная, из кабины вывалилась Таисия – мир встал на голову...

Набежали, как саранча, обступили машину плотно.

Андриан Изотович был бледный, худющий. Ступил несмело на снежок. Глубоко вздохнул родным привольем:

– Хо-ро-шо-о у нас, бабоньки! Та-а-ак!

– То-то, чудило маковое, болеть он придумал!

– Ага! По больницам, голова два уха!

– Ни чё, ни чё, еслив с баб начинается! Ишь, как пропел, холера возьми – ба-абоньки!

Здоровый уже – первый признак.

– А Таисия?

– Какая тебе Таисия – баба!

– А хто, в юбке ить!

– Дед пихто и хрен с маком. Жена обнаковенная, за два сорок за штамп. Баба – она баба, с женой не путайте.

Добродушно улыбаясь, довольный местными балагурами, Андриан Изотович произнес:

– Не-ее, дело не в том, захвалили... Захвали-или, Таисия не доглядела, не вздрючила вовремя, я и достукался.

– Дак и похвала бывает не лишней, в ярме до помешательства? – соболезнующее упрекнула Хомутиха.

– Ярмо на мужицкой шее – наше все, – сказал Андриан просто, без всякой рисовки. – Как выпрягся, так пропал. По мне, старая, в ярме лучше.

– И-их, едрена мить, Андриянка-верховод! Я ить с чикушкой нацелился, как в воду глянул! Ить последню вытащил из загашника за-ради такой встречи, да Васька, супротивна башка, отобрал... А так бы, прям, к месту!

– Отобрал?

– Как есть на полном сурьезе, как я не изворачивался, штоб не отдать. Отобрал, паскудник, но если не против...

На деда зашикали, но нашлись и возрадовавшиеся его душевной щедрости, подтолкнули вперед:

– Соблазняй, дедка! Действуй, едрена мить! Надо, не только чикушку, ящик выставим, до Валькиной лавки – раз шибко плюнуть.

– Я вам подействую, – шумнула нарочито Таисия, пряча вновь увлажнившиеся глаза. – Совсем свихнулись без погоняльщика?

Паршук егозил перед ней, весело запрокидывал голову, точь-в-точь, как радующаяся появлению хозяев непутевая шавка:

– Не придурки, поди, намагниченные, видим, жидковат он пока, твой Андриянка, для сурьезново разговору. Обождать маленько придется с чикушкой-загибушкой, а так быть в ноздрю, а, робятки? Прям, каждому нерву на пользу!

– Один выход, обождать, – не оставляли бабы запретную тему. – Но гляди, чтоб не скисла у Васьки, кислой потом угостишь.

И еще говорили много и дружно.

– Может, в контору зайдем? – предложил Данилка.

Таисия пихнула его плечом, сильно двинула кулаком под бок, отгородив от мужа, порядком утомившегося за трясучую дорогу. Но Андриан уже разгребал толпу. И люди шли с боков, выставляя руки, готовые подхватить при нужде, как мать подхватывает в неуловимый миг падения своего неумеху-ходуна.

На крыльцо забрались скопом. Кто не смог оказаться в первых рядах, сбились у крыльца и перил – внимание ему, Андриану, не скажет ли важное, требующее немедленного исполнения.

Входная дверь распахнулась с треском, едва не смела с крылечка толпу – Нюрка нарисовалась всей тучной персоной?

– Ну-ко! Ну-ко, с папиросами наострились! Не пушу с папиросками, не для вас кабинет проветривала!

– Нью-юра! Да ты, прям на выданье, так и цветешь! Где ж тебе женишка путного подобрать, крале такой?

– Скажете, Андриан Изотович! С выздоровлением! Входите, входите: рация дважды уже че-то бубнила, а я же не знаю, что делать.

Постреливая жаркими угольками, гудели сыто, урчали самодовольно массивные черные печи. В узеньком коридорчике и в кабинете теплынь, веничком березовым припахивает. Тоненько-тоненько, соблазнительно

– Так им, веником, – подтвердила Нюрка догадку Андриана Изотовича. – Как Савелий Игнатьевич рассказал про вашу банную скуку, что нельзя будет вам париться зиму, я обмахнула распаренным мокреньким. К приезду маленько, для запаха.

– Наверстаем! И с банькой, и с чикушками... Нас и на девок останется, Нюра.

– Не бери в голову, Изотыч! Хва-атит – еще на запас отложим до морковкиного заговенья! – опережая мужские медлительные голоса, едва набирающие веселый рокот, охотливо подхватили бабы.

– А то бы – не монах! – утвердительно загудели мужики, распаленные женской стоворчивостью.

Таисия была безмерно счастлива несерьезному течению беседы, вопреку в толстых дорожных одеждах, утиралась платком.

– Ну! Как зимуется? – Андриан Изотович опустил в свое самодельное руководящее креслице, откинулся на жесткую прямую спинку, но лицо оставалось вялым, бездушным, не было в нем былой горячности и нетерпения. Глаза полуприкрыты.

– Че нам, зимует, – оскалился весело Данилка.

– Сколь вывез на седнешний день?

Данилка выпячивается самодовольно:

– Да не меньше, чем думаешь.

И другие, всяк по-своему, спешит обрадовать управляющего сделанным в его долгое отсутствие.

– А Настюха, Изотыч!! Не забыла, шалава, как хлеб варганят! Ух, до чего же хлебец у нас нонче в продаже!

В подтверждение сбегали на пекарню, принесли свежую буханку, втокнули в кабинет растерянную Настю.

Буханка круглая, высокая, как шапка Мономаха, пышная, в отличие от прежних «кирпичей».

Развалили одну напополам и не то Андриану суют, не то сами налюбоваться не могут.

– Спасибо, Настя, что есть в тебе, то есть. Хорошо снабжала, уж чем-чем, а хлебом твоим я поковырял перед врачами... А формы откуда? Да круглые, язвы ее, перечницу!

– Приходите, увидите, Хомутова работа.

В общем хоре не участвует лишь голос Ветлугина, появившегося с опозданием. Прижался Савелий Игнатьевич бочком к печи, словно руки согреть не может.

– У тебя какие новости, Савелий? Что уминаешься, как провинившийся?

– Дак бураны, манна каша, метёт и метёт без передышки, а бульдозера не допросишься. Кабы – шоссейка, бугорок бы повыше, дунет, и нету лишнево, а то проселок через леса, всяки увалы. Водители из тайги – наотрез.

Андриан Изотович подобрался, будто изготовился к прыжку, затяжелел взглядом, круто приподнялась седая лохматая бровь:

– Та-а-ак! И что выходит на твоём ударном фронте?

– Дупль-пусто выходит за месяц, Андриан, – хмурился пилорамщик. – Самый низкий приход за время работы.

– Та-а-ак! Строек напланировали, леса наобещали... Та-а-ак! – Новость была замораживающую паузу, скомандовал Кольке Евстафьеву:

– Ну-ка пощелкай кнопками, есть кто у них там, в совхозной конторе?

– Андриан! Андриан! – заволновалась Таисия. – Не сразу – на всю катушку! Ты можешь вечер хотя бы не думать, о чем не надо?

– О чем не надо! – передразнил ее муж и побагровел от напряжения. – А о чем надо? О другом я не думал пока.

Щелкнув главным тумблером, Колька повертел ручку настройки, покричал в микрофон и протянул его, взблеснув глазами:

– Сам! Николай Федорович!

Грызлов, кашлянул, настраивая голос, поздоровался, и все услышали, как в трубке обрадовались, заговорили поспешно.

– Дома, приехал вот... – заверил трубку Грызлов и продолжил: – Где отлеживаться, когда... Да я еще не доехал, если хотите знать, и седне уже не доехать, видно, я вот сразу в совхоз к вам полезу по тем сугробам... Зачем? Сойтись хочу в рукопашную, чтобы кое-кому тошно стало!.. И вам! Что тут скрывать, вам, Николай Федорович, в первую очередь... Ну, а как вы хотели, если кроме Грызлова ни у кого не болит за нее?.. Э-ээ! А вы и не знали из вчерашнего дня. Не знали, а я откуда... Именно дорога – а то Савелий не просиживал сутками в приемной у вас?.. Так видно было из больницы. Из больницы, прямо с кровати... Ничего не выдумываю, как есть, дорога держит в первую очередь.

Рация сердито буркнула, что дорогу к ним бьют, к вечеру, точно, придут два лесовоза, но тут же предупредила:

– Из фондов нашей лесопилки выделяю, имей ввиду... В честь твоего выздоровления.

– Там – ваша, а здесь – уже не ваша стала? – обиделся Андриан Изотович. – Вы, Николай Федорович... Ну, ниче, ниче, теперь я на месте. Пришла ваша очередь за валидол хвататься, покою не дам, не рассчитывайте.

Он был рад поговорить с Кожилиным, рад его доброму густому голосу. И не грозил он ему, а, скорее, настраивался на привычную рабочую волну. Собравшиеся в конторе слушали затаенно, подталкивая друг дружку локтями и вскидываясь горделиво, с нескрываемым восхищением поглядывали на своего разоряющегося вожака.

Совсем не к месту будто бы рация поинтересовалась:

– Коньячком еще не балуешься?

– Повода нет пока, Николай Федорович, чтобы на коньяк раскручиваться. Был бы повод!.. Хотя дед Паршук уже предлагал...

– Коньяк? – не поварила рация.

Грызлов успокоил:

– Не, на коньяк не потянет, всего лишь читком пригрозил.

– А сможешь? – все так же непонятно домогалась рация.

– Смотри, по какому случаю – в гости приедете?

Рация кашлянула, выдержав паузу, сказала густо, совсем близко:

– Газеты читай, найдешь за что.

– Читаем вроде. На денек-другой попозже вас, но читаем.

Голос директора приобрел новую, более сочную окраску и объявил на весь притихший кабинет:

– В сегодняшних Указ о награждении тружеников села нашей области. С орденом тебя, Андриан.

Андриан Изотович отстранился от микрофона, перевел растерянный взгляд на мужиков.

– Ну! Ну! – спрашивал въедливым шепотом Данилка. – Орден какой... Какой орден?

– А какой орден, Николай Федорович?

Вышло глупо, наивно; ошпарив гневным взглядом подсказчика, Андриан Изотович крикнул с надрывом:

– За что хоть, Николай Федорович?

– Одни считают – за высокие показатели бригады, за работу, а я – за характер, за уважение к земле.

– За уважение! – недовольно буркнул Андриан Изотович. – За одно уважение пока и медалей не дают... Эх, да ладно, если такие шаньги с пирогами! Спасибо, Николай Федорович! Явно твоя рука чувствуется. Спасибо!

В трубке послышался звучный смех:

– Удачно ты позвонил, мы с утра в райбольницу нацелились специально. Ха-ха, вот была бы конфузия! Ха-ха-ха! Ну, дома встречай. Выезжаю.

Щелкнуло, пискнуло, и голос Кожилкина пропал.

2

Земля захлебывалась тальными водами. Дружно потянулись на север птичьей стаи. Рассекая воздух упругими крыльями, падали на заливные луга заречья. Гусиный гогот, клекот журавлей, неистовый утиный крик будоражили сине-прохладные дали.

Запрокидывая голову и провожая частые стаи, Савелий Игнатьевич гудел:

– Язви, баловал когда-то ружьишкой... Бродни повыше, да на озера денька бы два.

У Трофима вдруг развязался язык.

– Мы с Данилом однажды пальнули дуплетами по манкам деда Егорши, – сообщил усмешливо, раздирая рыжую заросль вокруг мясистых губ. – Сдуплетили на потеху деревне.

– Побольше схотелось, – рассмеялся Савелий Игнатьевич.

– Побольше, ага! Данил всегда в командирах: кучно уселась, безмозглые! Тихо! Товсь залпом. По счету три – бахай!

– Ну? – Савелию Игнатьевичу хорошо, сладостно, в каждой жилке весеннее буйство. Силы в нем столько, что рабочая брезентуха не выдерживала могучее движение груди.

– Бахнули и все «ну». Токо шипенье над камышами.

– Манки? – шумливо вскинулся пилорамщик и зашелся надрывным смехом.

– Они, язви в загривок! Егорши придурка! Удачно сдуплетили на свою голову.

– Ловко. Дак, а дед-то куда глазел-блзнился?

– Егорша? Он с той стороны озера, кабы с этой. Он с то-о-ой, под зарядами оказался, рыба-мать! Как вскочил, как лупанет встреч поверху со своей довоенной калибровки немецкого образца, у Данилки двустволка из рук. Бултых, и как не было ружьишка.

– Утонуло?

– На дно, куда бы еще!

– Ныряли?

– Ну, а как, само не всплывет. Ружье, как-никак, явись-ка на глаза Мотьке?

– А ты?

– Ну и я, из той же закваски... Было шуму, пришлось откупаться, чтобы Егорий на смех не выставил. Мотька целый месяц в банешку на ассамблеи не пускала. Да ну, скукота, как неприкаянные.

На пилораме несусветная грязь. Стоя на комлях, Венька раскачивал стойку в передней подушке лесовоза. Бревешко болталось, но не вылезало, Венька психовал:

– Не хочет, глянь ты! Никак че-то, дядька Савелий?

– А тебе – через пуп да колено! Нахрапом! Давний урок не забыл, когда Трофима чуть не угробил завалом!

Венька сопел, как паровоз, испускающий лишние пары, еще злей наваливался на стойку.

– Заклинило, значит, – сердито бросил Савелий Игнатьевич.

В сердцах отпихнув сосновый стояк, Венька попросил:

– Стукни снизу разок. Пошибче.

– Придерживайся, гляди, мокро кругом.

Топорик для серьезного дела был слишком легок, но стойка заметно подавалась. Савелий Игнатьевич бил азартно, с размахом, хотя бить снизу вверх было неудобно. Венька раскачивал бревешко, дергал, обхватив его крепко и прижимая к груди. Выдернул, но потерял равновесие и пал под Савелия Игнатьевича, в грязь. Лесины неохотно шевельнулись, заговорили угрожающе.

– Каша манна, ввел опять в грех! – Не успев испугаться за Веньку, Савелий Игнатьевич подставился зашевелившимся угрожающе бревнам, крикнул, упираясь грудью в липучую смоль, налился кровью.

Бревна накатывались, страшно давили; что-то хрястнуло в нем...

Поняв, что не сможет больше удерживать непомерную тяжесть, он мог бы еще отскочить, и было сильное желание отскочить, спасая грудь, но где Венька?

Пилорамщик хотел крикнуть ему, предостеречь, а кричать было нечем. Не оставалось свободных сил. Грудь немела, сдавали дрожащие ноги, ногти все глубже погружались в янтарную бездну, пахнущую тайгой и горячим солнцем.

– Да где же ты, манна каша! – Изловчившись, Ветлугин развернулся, подставил плечо.

– Охламон паскудный, второй раз лесоповал устроил! То меня едва не угрохал, теперь... Держись, Савелий, щас! – Рядом пыхтел и тужился Бубнов. Залитый грязью, взлохмаченный, топтался над Венькой, покорно свернувшимся в ногах у него.

Набегали по доскам шофер лесовоза и Семка Горшков.

Семка вскочил на кабину, вогнал в брус подушки ломик.

Покачав, вогнал глубже.

– Всех делов, басурмане: головой надо шурупить... Отпускай помаленьку.

Когда рабочие отступили, Семка выдернул лом, бревна, глухо переговариваясь, весело покатались на землю

– Фу, язви вас! – облегченно вздохнул пилорамщик, прислушиваясь, что же так противно ноет в груди.

Вроде бы ничего неестественного, по груди и спине растекалась, ослабевающая, самая обыкновенная боль. Растирая ключицу и саднящее плечо, Ветлугин пошел к поющим пилам.

Бубнов недовольно ворчал за спиной:

– Верхогляд! Склизко, а ты как играешься, Венька. Сила, она слепая. Из-за собственной дурости тебя однажды сомнет и ково-то безвинного.

– Нарочно я? – утираясь обшлагом толстой куртки, оправдывался равнодушно Венька – легкомысленность его была неподражаемой.

3

Солнце купалось в лучах заречья. Стоял грачиный гвалт. Проводив машину, Савелий Игнатьевич сделал необходимые отметки в журнале и направился в контору на вызов бухгалтера, шагая размеренно, с той удовлетворенностью, которая присуща человеку, не имеющему ни грехов за душой, ни черных мыслей.

Весенний настрой ровного и размеренного вошел в него недели две назад, все снова казалось простым и ясным, какой он любил больше свою новую деревенскую жизнь. Легко приняв ее, вставал он теперь значительно раньше, чем поднимался когда-то в тайге, научился радоваться пробуждающимся степным просторам точно так же, как радовался когда-то умиротворенности утренних дебрей. Это теперь стало самым важным – жить размеренно, тихо, зная главное место, свои человеческие обязанности. И чего бы ни наваливалось больше в течение дня – душевной радости или сплошных огорчений, – он все равно готов был жить и быть вечно. Потому что у него появилось выстраданное право, были семья, Варвара, будущее дитё, он был нужен им вместе взятым и дорогим.

Просто быть, как он жил много лет в тайге, для него давно потеряло смысл, а вот быть нужным – не могло потерять никогда.

Семен Семенович щелкал костяшками. Подняв на лоб очки, вытер усталые глаза.

– Ознакомься с новыми расцепками, чтобы не наговаривали, что от меня, я предупреждал. – Задойных подвинул бумаги.

Отношения меж ними выровнялись к лучшему, хотя излишне напряженными никогда не были, Савелий Игнатьевич держал слово, заметных нарушений не допускал. Ну, а по мелкому, кто не изворачивался перед бухгалтерией, исходя из общих потребностей; на мелочь, разумеется, если она умно упрятана в прочих благополучных цифрах, обставлена толково, не такие законники закрывают глаза. Это установившееся молчаливое взаимопонимание устраивало обе стороны: и пилорамщиков, накручивающих ежемесячно к прямому и как бы законному заработку по десятке-другой, и бухгалтерию, которая откровенно презирает грубые подтасовки, заметные невооруженным глазом.

Никогда не хапая лишку, прибрассывая то земляных работ, то ручную переноску-переброску – пойдешь, проверь: копали – не копали, носили – не носили, – Савелий Игнатьевич был твердо убежден, что поступает по совести. Тех законных денег, которые выходили без прибавки, семейным явно не хватало, и старался он, в первую очередь, только для них. Венька, Семка, Васька с Анатолием, прочие холостяки, получали всегда поменьше, хотя работали не хуже того же Бубнова, но не обижались, проявляя должное понимание поощрительной политике Ветлугина в начислении зарплаты.

Семен Семенович действительно предупреждал, что в совхозной бухгалтерии, далекой от производства, имеющей своё представление о справедливой оплате труда и несправедливой, не захотят мириться с довольно высокими на общем фоне заработками маевских пилорамщиков, обязательно придумают на него хитрую узду, но Савелий отмахивался: «Оне – ново и мы – придумаем. Всю жизнь так». Семен Семенович пробовал убедить его шуткой, мол, конь всегда под всадником, не наоборот, и Савелий снова отмахнулся: «Я в ответе. Им детей кормить, а щепки жевать наши робятки пока не умеют». Щурился насмешливо: «А может, лесишко толкнуть налево? Мы живо. Сумем».

Он и теперь будто пропустил мимо ушей сказанное бухгалтером, загребая бумаги, буркнул:

– Андриан Изотович был седне?

Задойных неопределенно пожал плечами, из чего следовало, что он лично пока управляющего не встречал.

Наскоро пробежав инструкцию, хмыкнув пару раз, Савелии Игнатьевич бросил бумаги обратно.

– Што я должен сказать на это? – Голос его был насмешлив. – Они пишут, вы проверяете, а мы робим. Так вчера, так седне, и завтра не изменится. По-другому не бывает, без мухлёвки, не верю.

– Тебя не заставляют верить, я говорю, ознакомься, прими к исполнению и не своевольничай.

– И што переменится, когда ознакомлюсь, в штанах станет мокро? Наша власть не даст жировать, мое никогда все не станет моим, переполовините.

– Савелий Игнатьевич, я предупредил, и действовать буду строго, имей ввиду. – Бухгалтер снял очки, заволновался, предчувствуя нелегкий разговор с упрямым пилорамщиком.

– Што выйдет, прикинул умной головой? Поскольку выйдет каждому, если так? Да неее, – поспешил заверить, – шибко-то нарушать – мы понимаем. Но и по ним жить, извини, подвинься. Ты сам-то как, веришь такой бумаге? Есть в ней правда?

– Вы получаете больше механизаторов, больше доярок. Естественно...

– Естественно не нам урезать, а другим добавлять.

– Чтобы добавить, надо где-то еще добавку добыть, – не сдавался бухгалтер и не глядел на пилорамщика.

– Рабочий класс у государства в долгу никогда не был, – гордо расправился Ветлугин, – у него государству добавка кажен день. Считать учитесь лучше, хозяйева, да на механизацию нажимайте, штоб не лопатой, вашу перетак. Швыряйтесь бумажками направо да налево, а потом хватаетесь за голову. Ты скажи, вот скажи, положи руку на сердце, Семен, было у нас так, штобы хоть год без нарушений, по инструкции? Да што я беру! Хоть месячишко?

– Стараемся, – уклончиво мыкнул Задойных.

– Знаю, што стараетесь, разве я не хочу? Я што, больше глаз рву, государство разоряю? Дак нет. А што будет, заживи мы только по вашим расценкам с инструкциями?

– Что же они все глупые? Против рабочего человека?

– Зачем, сроду так не скажу, но бестолковых полно. Спорить с ними – зря время терять, легче придумать, как обойти. У вас мозги на всяко изворотливы, слышать никово не хотят, и у нас не мякина. Считаю, проинструктировал.

Отказавшись от предложенной ручки, вынул не спеша свою, развинтил, небрежно вывел: «Прочитано. С. Ветлугин».

Не решаясь сразу возвращаться на пилораму, он отправился к Андриану Изотовичу, который, чувствуя слабость, хозяйственные дела под неуступчивым жестким контролем Таисии, большей частью решал пока дома.

Бабка Меланья, вроде бы как в нормальном здравии, без сумасшествия в глазах и нервного дергания тела, шептала Таисии в подворотне:

– Ты, цветик-милаха, молочка парного на блюде поставь. Он уснет, а ты подсунь рядышком. Не иначе змея-лихоманка в нем завелась. На покосе-то раньше, слыхивала? Оне махонькие – змейки-пеструшки! Оне сонному в утробу вползают, а потом сосут и сосут. И ево, не иначе, сосет. Поставь молочка, лучше тепленького, прям, парного, и приглядывай ночку-другую, не спи. Не спи-ии, девка! Наголодавшись, она вывалится молочка похлевать, а ты не зевай. Самого, гляди, не спужай, со сна спужаться сильно не долго.

От возбуждения и доверительности старуха пристукивала клюкой, хлюпалась калошами в лужице.

– Как наш больной? – замедляя шаг, спросил Ветлугин. – Разрешашь проведать, не спит?

– Когда, Савелий! Не один, так другой на пороге. Извыклись до чего.

Но строжилась она просто для видимости, распахнув перед ним калитку. В последний момент, придержав за рукав брезентухи, спросила:

– У тебя как?

– Да как – отвез только вчера... Лес примал, с бухгалтером разны шуры-мура, с докладом вот к твоему верховоду. Некогда наведаться, жду новостей, изошел черт-те на што.

– О Варваре, ли чэль, рожать отвез, говоришь? Вона как, девки! Кому не годилось, а нам полюбилося. – Меланья пыталась приподнять клюку и не смогла, совсем в ней разладилось за зиму. – Сберегете робеночка – ввек не разлюбитесь, случались дела похлеще. А ище што скажу вам про Симакова. Женится скоро Василий на Нюрке-уборщице, забожиться готова.

– Ты уж совсем, бабушка, – махнула рукой Таисия на Меланьину новость: – Нюрка и Васька, с чего бы!

– А вот-те и Нюрка, дырка-свист! Вот и Василий-молчун! Понимаю, поди, эва, сколь оттопала средь вас. Жить станут как люди; Нюрка, она не брезглива, она Паршуку вместо родни стала. Пряма заботлива-яя. И Василий хозяйственный, не отберешь. Хозя-я-яйственный! Это Настька, шалава непутевая, спутала руки, а так аккуратный мужик. Аккура-атный! А ты, милоч-голубь, – подняв клюку, она положила ее вместе с сухонькими кулачками на грудь Ветлугину, – ты глазом строже поглядывай. Не зло, не сердито, а строго, беспокойно ей жить, помогай. Робеночек выровняет, робеночка ей давно-о надоть. Давно-о, голубь-Савелий! Стро-о-оже гляди, куманек, – самой самостоятельной не во вред.

Таисия улыбалась бабкиному увещанию, сводила его к шутке, а Савелию не до смеха: самую тонкую, чуткую струночку задевала кликуша, добавляя тревоги, с которой он жил. Сам видел и чувствовал мучительные Варварины терзания, как неровно любит она его, то отдаляясь на время, обдавая холодом, то снова одаривая ласками, страстью.

Андреан Изотович стучал в нетерпении в окно, улыбался изжелтевшим осунувшимся лицом, азартно манил в избу.

Таисия сердито грозила мужу в ответ и чувствительно подталкивала Савелия в спину:

– Да иди ты скорее, тумба неповоротная, пока рамы не высадил. Иди!

– Сдурел, вторые сутки не являешься? – метался, по избе Андреан Изотович, поддерживая через шаг-другой теплые байковые кальсоны, и спрашивал: – Варька еще не родила, не сообщали? Ну, родит, дождешься, уж недолго... Да куда у нас пораспихано: то в каждом углу, то с огнем бесполезно...

Не найдя, что искал, он полез через Савелия Игнатьевича снова в окно, забарабанил со всей силой:

– Таисья, хватит лясы точить, домой... Что – «что»? Домой, говорю!

– Ты сядь, запрыгал он. Сядь, пока по другой причине не свалился. Совсем, што ли, лучше? – наблюдая за Андреаном, гудел Ветлугин.

– Откуда мне знать – как оно лучше! Тело маленько начал слышать и – холодно ночью. А то было – отруби руку, как вчера, не шевельнулся бы.

– Тут нервы, не токо сердце. Нервотрепка – тоже, знашь ли, капризна штука!

– Они, растуды их. Подгнили веревочки.

– На курорт просись.

– Накануне-то сева? Нашел санаторщика, что я тебе, инвалид?

– А то туда – одни инвалиды! Там, манна каша, шишкари, не нам чета. Кажен год, эти уж не пропустят зачерпнуть из общественных фондов! Ха-ха! Мне предлагали однажды. Зимой!

Андреан Изотович опять ломился в окно, колотил кулаком в переплет:

– Таисия, в душу твою, мачеха! Дождусь я седне твоего пришествия?.. – Обернулся ощерено: – Щас, потерпи... Сын у тя будет, Савка, головой ручаюсь. Ты здоровый бугай, девок лепить негоден – слишком тонки натуры. С парнем поздравить хочу. Щас, погоди чуток,

ждемся комиссаршу. Грамм по двадцать, ха-ха! – Подсел рядом, погрозил вошедшей Таисии, приобнял Савелия. – Знаешь, кто у меня побывал только что?

– Да мало ли кто?

– Мало, да и не мало, мил друг... Игнашка Сукин – вот кто. Ремзаводовский баламут.

– Главный твой доставало?

– Спасибо, не отказывал в снабжении, сознаюсь, а появился насовсем. Страмота, говорит, смотреть, как бабка моя мучается на старости и никакого присмотру, схороню, мол, дальше посмотрим. Понял тактику? С предложением, в городе-то усыхает, обдуманно у хитрована хреновича.

– Ну? – Ветлугин не понимал его возбуждения

– На ферму послал. Смонтируй, говорю, новую мехдойку и следи. Он хороший слесарь.

– Андриан... В деревне человеку невыгодно жить... А ты не поймешь.

– Не выгодно, знаю, не тупей паровоза. Так, а земля...

– Хватил снова! Ну и што, если земля? Она не твоя – государственная. Вот государству и головная боль, мы тут причем? Нам тоже жить хочется.

– Ну, дождался! Ну, пришел еще один мотать нервы! Да что же такое...

– Вскочил опять, носишься из угла в угол в одних кальсонах, ни стыда, ни совести, – с порога еще заворчала Таисия, применяя безотказную тактику – обвинительное нападения. – Ведь полчаса назад едва уложила. А ну! А ну, лезь под одеяло! Савелий, что с ним лежачим нельзя вопросы решать? Лезь, говорю, Андриан!

– Стой! Стой, баба! У Савки сын вот-вот родится! А может, уже орет на всю палату. Рюмки давай – нигде не нашел.

– И не найдешь, не для того прятала.

– А если найду!

– Попробуй, с утра ищешь, как этот хлюст ремзаводовский заявился!

– Таисия, много берешь на себя в последнее время! Рюмки давай, Савку хочу поздравить.

– Родит Варька – вместе поздравим – она еще не родила... Со вчерашнего вечера сходишь с ума.

– С вечера, Савка! – охотно подтвердил Грызлов. – Как узнал, что Варька в больнице, от зависти сам стал как шкворень, матрена марковна. – И бухал себя дерзко в грудь: – Во! Во! Подмигни, какая росомаха.

В сенцах мелкая топотня и Надька – ветром:

– Гля, сидит, как ни в чем небывало! У него дочка родилась, а он прохлаждается, где не надо.

– То есть... Ты што несешь! – Савелий Игнатъевич смешно расплылся на стуле, недоверчиво заморгал. – Вчерась отвез, а седне уже получай? Рано, кажись.

– Тоже мне, – осуждающе дернула губами Надька, – свое сосчитать не могут. Отец называется!

– Надя! – всплеснула руками Таисия. – Да кто же так говорит!

Надьке наплевать на условности взрослых, шпарила ихними же словами:

– Поднимайся, давай. Нос едва не расквасила – бежала бегом полдороги обрадовать поскорей, пока попутка не нагнала, а он присох, сидит. – Подскочив нетерпеливо, дернула за брезентуху: – Да отец ты или шиш на постном масле! Все кругом рады, а он... Курдюмчик на машине дожидается, поднимайся, давай!

– Каша манна... Дак вот... как же, я не против. Конечно, поехали скорее, – говорил он глупо, невнятно, выталкиваемый за порог залиvisto смеющейся Таисией.

Машину Курдюмчик гнал быстро – рессоры трещали, а Савелию Игнатъевичу все казалось, что они едва ползут. Он прижимал к себе Надьку, прыгающую у него на коленях, и спрашивал:

- Сама видела?
- А то! – одаривала его сияющим взглядом Наденька.
- И какой!
- Тебе сказано, не он, а она.
- Ну, она, ладно. Какая?
- Как все. Сморщенная и красная.
- Некрасивая.
- Уж получше тебя с Варварой.
- Красивше?
- А ты думал!.. Наверно, вся в меня.
- Как тебя пропустили?
- Придуриваться не умею! Как заревела на всю больницу, сразу нараспашку. Са-а-ами повели! Как миленькие!

Мельтешило за голыми березками причуда-солнце. Жгло, кровенило затуманенный взор. Скрипучий дворник смахивал с ветрового стекла жидкую грязь, и что-то, подобное этой липучей грязи, охотно сходило с души Савелия Игнатьевича.

Глава пятая

1

Врожденным внутренним чувством угадывая, что все пройдет хорошо, родов Варвара не боялась, и получилось как нельзя лучше, сравнительно легко и просто. Ей протянули девочку; дочь, если это была ее дочь, была крупной, ничем не затронула и не обеспокоила, и она, подержав совсем не долго, вернула санитаркам...

Странно было ощущать и чувствовать всем измученным, утомленным телом, нутром и опустевшей плотью, что новая жизнь отделившегося существа никак не становится ее жизнью и страстью, как должно быть и как было при рождении первенца-Леньки, а материнские чувства ее остаются упрямо бесчувственными и равнодушными.

В ней, в толстой, подкожной брюшине, называемой плотью, нет уже ничего, не торкается, не колотится ножками, но где все это – ей не известно.

А то, что давали и она только, что держала, так и не прижав к груди...

Нет, нет, не ее, этого не может быть...

Холод неприятия и отторжения или это вовсе не холод... а обычное избавление, как бывает с неприятной болячкой, долго донимавшей, доставлявшей серьезные неприятности и вдруг отвалившиеся вместе... с кровоточащей, болезненной коростой.

Нет помнящегося захлеба, как было с Ленькой, едва отделившегося от нее и мгновенно потребовавшего ее материнской души, ее искренней будоражащей родительской нежности, ее близкого, заворачивающего дыхания – ни-че-го.

Ничего похожего: бесчувственность и равнодушие.

Странная тоска и опустошенность.

Так родила она или еще не родила?

Что же случилось, что нет в ней ни радости, ни страха, ни стыда, ни отчаяния.

Пусто. Холодно.

Нисколько не сомневаясь, что Савелий примчится, едва только узнает, что она родила, в какой-то момент нервного ожидания Варвара вдруг почувствовала, что не желает видеть новорожденную, и что могла и должна была получить, давно получила и ничего нового ей больше не надо.

Ощущение было неприятным, обескураживающим, неожиданным, никогда себя на подобное она не настраивала и в голове не держала, до последней минуты ожидая ребенка, нужного Савелию.

Савелию, но не ей.

Савелию, не Василию – в чем главная заковыка и отторгающее неприятие новорожденной...

Кабы Василию...

Более того, совесть ее не испытывала никаких беспокойств, как не испытывала их много лет назад, в день появления Наденьки, которую ее душа так же не хотела, при первых же словах Леньки, мол, выродила и все, кинулась на плотину.

Не окажись вовремя под рукой Ленька...

Несмотря, что было это давно, Варвара вдруг отчетливо почувствовала себе прежней, довольной, что рассталась с Пластуновым, не нуждается в нем, как не нуждалась будто теперь и в... Савелии. Ныло в глубине тела и на доньшке сердца, разверзалось холодной пустотой, душа мучилась и чего-то тоскливо просила. Варвара, стараясь отогнать вновь ожившую несбыточную мысль и затаенное желание, заметней слабела и ненавидела себя.

Надька родилась, не имея права родиться – ни с того, ни с сего дети не должны появляться на свет. Ленька – другое дело, Ленька был желанен, имел законных отец и мать. А с этой... Но ведь и у нее не менее законный отец!

Впрочем, и мать... И мать!

Когда ее снова попросили покормить ребенка, она равнодушно поднялась, взяла мягкий, ничем не греющий сверток, поднесла к груди, твердой от избытка молока, привычно вынув сосок двумя пальцами.

Девочка показалась вялой, впившись в сосок, не проявляла другого интереса, оставляя Варвару равнодушной к ней.

В палате было много других женщин. Они негромко переговаривались, вспоминая с испугом пережитое и возбуждаясь заново, кидались к окнам, когда окликали с улицы, в захлебе и восторге истаявая первичной материнской радостью, кричали в ответ всякую глупость, как и она когда-то кричала Симакову...

Симакову, не Пластунову, и не... Ветлугину.

Симакову, люди, как вы не понимаете!

С ней пытались заговорить, но она не отзывалась, сея смятение и отчужденность. И час и другой лежала, непонятная никому, чужая себе, немигуче уставившись в белый потолок.

Ей не было нужды искать причину равнодушия к ребенку и ее отцу, эту причину она хорошо знала, и когда ее позвали с улицы, она вначале растерялась, подумав о Ветлугине... Но звал не Савелий, что она мгновенно поняла особым женским чутьем, догадываясь, что зовет Симаков.

– Да иди скорей, чумовая, муж пришел! – теребили и благожелательно дергали бабы; а кто-то уже кричал в окно, что сейчас, сейчас она встанет и подойдет.

Ноги не шли, онемели, в поясницу вступило, не возможно было поверить, что за окном Василий – единственное, о чем могла она только страстно мечтать, пугаясь собственного желания.

Побуждаемая бабами, пересилив страх и сковавшую тяжесть, она поднялась, подойдя, оперлась на невысокий подоконник, выглянула, чувствуя, как мутится в голове.

Симаков стоял под кленами, похожими на те, под которыми он стоял семнадцать лет назад, когда она родила ему Леньку, но выглядел по-другому, оставаясь далеким для ее чувств и холодным.

В руках его мазутных поблескивала какая-то тракторная штукавина и резала глаза.

Увидев ее, Василий дернулся было, сделал шаг, и сдержался, отступив глубже в тень, торопливо сунул в карман блестящую в солнечных лучиках железяку, освободив ее взгляд от режущей боли.

Он был неузнаваем, бывший муж и неугасимая первая девичья страсть, доводившая до безумия.

Еще более худой, патлатый, обтрепанный.

В широко раскрытых глазах бился испуг, подобный тому, что владел ею. От всей его близкой и знакомой фигуры веяло робостью,

Окно было закрыто, Варвара прижалась лбом к стеклу.

Оглушительная грусть сдавила сердце. Варвара застонала тихо, скорее, мысленно, и все, что недавно казалось желанным, но не исполнимым, и вдруг свершившимся – Василий пришел, – словно по мановению волшебной палочки, принесло еще большую горечь.

«Я долго ждала тебя, Вася. Всю жизнь, но тебя больше нет...»

Они долго смотрели друг на дружку, не решаясь нарушить затянувшееся молчаливое свидание. Варвара не упрекала его – за всю совместную и раздельную жизнь у нее не появлялось желания хоть в чем-то упрекнуть Василия, что самой иногда казалось странным. Наверное, не чувствовала за собой вины, в чем оправдываться, а сейчас...

А сейчас и совсем ничего нет, и Василия больше не будет.

Василий умер и не вернется, под кленами мираж прошлых чувств и не забывающихся женских страданий.

Родной, близкий, по-прежнему дорогой, как память, но несуществующий как человек и ее бывший муж.

Но близкий – когда рядом. Глаза в глаза, душа в душу. И дыханием, и взглядом и дерганьем сердца...

Вот и увиделись... и попрощались.

А тех, кого нет, кровно тебя обидевших, она не умела ни упрекать, ни осуждать.

Что думал в эту минуту Василий, она поняла не совсем отчетливо. Ясно было только, что он ее никуда не зовет, как звал в молодости и манил в торжественную минуту появления на свет Ленки, ничем не соблазняет и ни в чем не кается, он просто пришел, чего делать было не нужно.

Совсем не нужно.

Роженицы шушукались, надрывался ребенок, оставаясь далеким и не обязательным, и она вроде бы испугалась за Василия... если его больше не будет. Потом испугалась за себя и надрывающегося ребенка у себя за спиной, за то новое, что не вправе теперь забывать.

Василий отступил за кусты еще дальше, пропал, и когда она сообразила, что Симакова уже нет, нянечка напомнила о малышке.

– Покормить надо, мамаша, не слышишь?

Голодная девочка проявила и резвость, и жадную потребность в ней. Губки ее мягонькие влажно обняли сосок, занывший острым материнским желанием. Варвара склонилась над розовым личиком, славно прилипшим к ее груди и, обессиленная враз радостным желанием быть нужной, нужной безгранично на многие-многие годы, покорно затихла.

Накормив ребенка и отдохнув ровным глубоким сном, она сама подошла к новорожденной и впервые внимательно рассмотрела ее.

Личико девочки было крупное, округлое, лобастое. Крупным был носик, широко, раздувался. Губки мясистые, чуть навыворот. Все вдруг стало родным и желанным, а сердце встеплело, заволновалось пока не осознанной до конца нежностью и материнской тревогой.

Тихая-тихая радость пронзила Варвару с головы до ног, упеленала желанным покоем...

2

– Иди, давай, не бойся, я давно все разведала, – говорила Надька и тащила отчима сквозь кусты, вдоль высокого каменного фундамента.

Едва поспевая, уворачиваясь от хлестких веток зарослей, с узелком в руках, сунутым в последнюю минуту Таисией, за ними лез, громко сопя, Курдюмчик.

Больница размещалась в старом деревянном здании. Бревна были ровные, одно к одному, почернелые, в глубоких трещинах. Добросовестно подогнанные в пазах, они надежно держали иссохший до подобия щетины мох, свитый в тоненькие жгуты, бурый от времени.

Пораженный своим, неожиданным ему, Савелий Игнатьевич резко остановился, колупнув раз-другой уплотненные временем жесткие канатики, обернулся к шоферу:

– Это кладка, Юрий! Век простояла и еще столь выдюжит... Присоветуй мастера мне, стены вязать.

Не слушая, что говорит Курдюмчик, задирая вверх голову, полнясь новой решимостью, зачем-то простукивал кулаком стену, он радостно гудел:

– Развернись! Нонче я навалюсь, манна каша! Варюхе малой надо хоромину гоношить... Варюхой малой назвала нашу кроху Надёжа. Варюхой, слышь, Юрий!

Вскочив на белую опояску фундамента, Надька скреблась в окно, горласто требовала:

– Ково-ково, мамку, – ково спрашивать больше? Ну да, Бры... Ветлугину Варвару. Ну-к че, кормит, пускай с ней идет, мы же смотреть приехали.

Окна палаты были высоко. Савелий Игнатьевич и Курдюмчик задирали головы, тянулись, неловко переминаясь.

– Задворками таскат, егоза, – говорил теперь уже смущенно Савелий Игнатьевич, – а мы хвостиками за ней, две чурки без глаз.

Весеннее солнышко в затишье пригревало по-особому мягко, уютно. Чирикали напропалую воробьи, обустроивали свои гнездовья. В чистом воздухе витало еще особенное, хранящее ту самую прелесть жизни, которая однажды уходит навсегда вместе с детством, и если когда напоминает о себе, то таким вот едва уловимым вздохом и слабыми таинственными запахами, которые враз останавливают сердцебиение.

С изумлением оглядывая обступившее вдруг волшебство, Савелий Игнатьевич неожиданно подумал, что и он был когда-то маленьким, как Надька, и еще меньше, когда уже азартно лазил по углам изб, сараев, шарился под стрехами, за наличниками окон, выскивая гнезда, открывая новое и остро влекущее таинством зарождения, купаясь в благостных настоях весны.

Неужели было, вернулось, он снова мал, глуп, тарашится на мир и ждет открытия неведомого?

Не находи места, готовый, как Надька, вскочить на фундамент, Ветлугин заволновался, и волнение его необузданное прибавило страстного нетерпения. Хотелось закричать: «Не тяните вы там, Христа ради, распахните двери и окна, покажите скорее мое самое великое...»

Может быть, кричал, потому что какие-то люди смотрели на него через зашторенное окно, понятливо улыбались.

Подталкивая снизу, Курдюмчик шептал:

– Куда ты, куда? Вон! Гляди в другое!

Варвара стояла близко – за руку не взять, не дотянуться, но – близко. Савелий Игнатьевич таял от ее близости, чувствуя, как им обоим тепло, незаслуженно радостно в изумительной весенней новизне, и боязливо, что, совершая недозволенное, могут лишиться разома и щедрого солнца, и уютного затишья, напомнившего детство, и права в дальнейшем смотреть друг на дружку. Теперь ему нужно вдвойне быть сдержанным и осторожным в неумеренных и грубых мужицких порывах: меж ними появилось хрупкое существо, очень дорогое своим ожиданием.

Совместная с Варварой кровь и плоть, соединившая навсегда их тела и души.

Руки его наливались свежей силой. Ее становилось намного больше той, которая наполнила его памятной осенью на току, когда он увидел Варвару на выходе из палатки и увидел сжатые поля, леса, пылающие осенним жаром, ослепляющую даль. Ее бы хватило, и он чувствовал, чтобы унести сейчас в ту жаркую осень не только Варвару, но всю больницу с ее счастливыми, страдающими и отстрадавшими обитателями, одарить каждого букетом самых ярких цветов.

Он вспомнил вдруг, что приехал с пустыми руками.

– Эх, ты, как вышло-то, манна каша! Уж не подсказали. – И полез, подобно Надьке, на опояску фундамента, скалясь шало и требуя: – Поддержи, Юрка! Брось узелок-то, поддержи из-под низу!

Варвара оказалась еще ближе. Лишь тоненькое стеклышко меж ними.

– Варя! Варюха! Ну, молодец ты у нас!

Ликовала грубая душа, горел-изнемогал в приятном сиянии Савелий Игнатьевич, недавно еще не то человек, не то лесной бродяжка. Вот оно, его собственное – за окном! Ах ты, синичка легкокрылая – невеста будущего!

– Юрка! Видишь, язви тя, кишка пустая!

Курдюмчик прижимал его руками к стене, незлобиво пыхтел:

– Твой зад виден мне во всю ширь... Поаккуратней там с ним.

– Увидишь, я покажу, я покажу, поддержи маленько! – Теряя под ногами опору и снова выравниваясь, впиваясь пальцами в пазы и щели бревен, он кричал в стекло: – Хоть легко рожала-то? Не мучилась?

По щекам Варвары текли крупные слезы. Она улыбалась синими бескровными губами, кивала.

– Ну, ну! То мучатся, бывает, сильно, я переживал.

– Легко, Савушка... Потом было плохо че-то... Ой, держись крепче, не упади!

– Да што ты, куды-ыи! – едва сдерживая буйство, гудел Савелий Игнатьевич. – Я на Юрке сижу, я надежно уместился.

Надька рядом вскочила:

– Кричат на всю улку! Ты че совсем, как росомаха! Отнеси ее да окошко открой. – Тут же заверещала, едва не спихнув Савелия Игнатьевича: – А звать! Хоть знаешь, как будем звать? А мы уже знаем, сразу придумали, не сговариваясь.

– Как вы придумали? – не то плачет, не то смеется Варвара.

– А как – тебя, Варькой-Варюхой... Варюхой-маленькой!

– погоди уносить, личиком поверни, Варя! Личиком к нам, дай на личико посмотреть! Во-во, язви ее, писклявку! Вся прям в тебя, соплюшка наша маленька!

– Ага, в тебя удалась наша Варюха-говнюха! И в меня, правда? И в меня, две Варюхи теперь в нашей деревне! – щебетала Надька у Савелия под рукой, цепляясь за эту руку, чтобы устоять.

– Мать ты моя, комочек несмышленный! – умилялся Савелий Игнатьевич. – Солнцу-то не подставляй! Не подставляй на лучики, ишь, завертелася, жопка!.. Дергаться, язви ее в манну кашу, как большая, как человек!

Прижавшись к стеклу, так и не отрываясь Савелий Ветлугин, пока Варвара шла через палату.

3

Трудно считать годы близких людей; иногда и чужие затрагивают. Умер еще один полновластный правитель огромной страны, не осилив двух лет пребывания у размашистой власти, обещавший социалистическую законность и всенародную справедливость, что, в общем-то и Сталин с Хрущевым исповедовали, не тупя глаза. И борьбу с коррупцией не взирая на личности, разворачивал с шумом и гамом, сам увязнув по уши, оставив на память единственную фразу: «Мы не знаем общество, в котором живем», оказавшейся пророческой. Через год скончался следующий вовсе немощный, вождь-предводитель, которому самому было не лишне понимать, что и к чему, да вот не получилось, а дружки лишь подтолкнули. Этот, став едва ли не посмертно трижды Героем Социалистического труда, сравнившись в Хрущевым, при маразматическом Политбюро вогнал страну в окончательную агонию. Нашелся вроде бы, наконец, лидер помоложе, из бывших комбайнеров, получив неожиданное одобрение главного политиканствующего оракула Маевки Данилки Пашкина: «Ну-к из русских хоть, вроде бы из казаков, еслив не дурней кукурузника! Деревней, может, займется, хотя, кто косит под деревню, шибко опасные ноне».

Весна выдалась дружная, разгонистая, отсеялись маевцы в короткие сроки, и опять, как в прошлом году, весь механизированный отряд Андриан Изотович перебрал на распашку зареченских залежей. Но сделал он это не потому, что видел острую необходимость в дальнейшем наращивании пахотного клина, а потому, скорее, что в областной газете снова был поднят вопрос об угасающем целинном порыве и безответственном отношении к земле на местах. Статья была достаточно умная и смелая, резко критиковала руководителей хозяйств и райо-

нов, где пашня в последние годы не только не приращивалась при имеющихся возможностях, а умышленно сокращалась под всякими предложениями, и где не только запустили новину последних лет, а вообще вывели из обихода.

Хорошая была статья, мужики читали с воодушевлением, много спорили. Но Андриан Изотович упорно не принимал участия в шумных дебатах и ничем уже не воодушевлялся. Понимая насущность и остроту зерновой проблемы для страны, не постигал он другого – почему вдруг зерно отделилось от молока и мяса, почему в основе сплошь зерновые.

– Спахать – спашем, за нами не заржавеет, и засеем, как велено, да результата снова не будет. Слоны в Африке ясно, а нашим начальникам нет, – говорил он хмуро и, поручив отряд всецело заботам Пашкина, полностью переключился на строительство новой улицы и двух общежитий для животноводов.

Дома и общежития заметно подрастали. Забрав из больницы Варвару, заложил просторную избу себе и Савелий Игнатьевич. В несколько вечеров и выходных подвел под крышу, что с такими помощниками, как Бубнов, братья Горшки, Венька Курдюмчик сделать было не мудрено.

С рождением дочери у Савелия Игнатьевича вдруг прибавилось степенности, да и другие маевцы сильно изменились. Сам Андриан Изотович стал намного сдержанней, голос его утратил привычную напористую крикливость. Говорил он уже меньше, ровнее, непривычно прерываясь на грани вскипающего гнева и прислушиваясь, что происходит в настороженно-зябнущей груди. Реже и реже распаясь на крик, он точно сглатывал его, переведя дыхание, продолжал говорить спокойно и ровно.

В приятном расположении духа Данилка любопытничал:

– Дак, непонятно, Изотыч! Но уж, прям, как на леднике для молоканки зиму тебя продержали, сильно ты охолонул.

В утренние часы, когда ветерок налетал из заречья, деревня погружалась в сытое хлебное блаженство, и одно только это – густое и терпкое, сластящее и пьянящее – придавало Маевке крепкую земную солидность, исходящую уже не от пекарни, а от самой, озабоченной людскими хлопотами пашни, окрестных лесов и лугов. Бесшумно бежала в камышах и зарослях тальника мелкая тихая речка, плыли над головой кудрявые тучки. Глубокая прозрачная синь наполнялась тугими токами волнующейся жизни, заново и радостно утверждаясь в омытом вешними грозами чарующем великолепии. Из волшебного таинства густеющего воздуха разрозненные улицы смотрелись устойчивее, ближние и дальние колки нарядней и роднее, встречные казались друг другу нужней и понятнее.

Всюду властвовал и побеждал колдовской хлебный дух – основа деревенской сытости и бессмертия.

Вынув хлеба, Настюха не спешила уходить, отыскивала себе новую работу, и никто не подозревал, как страшно ей возвращаться в пустой дом с голодной собакой на цепи, где грязно, запущено, несравнимо с идеальной чистотой пекарни. Словно смиряясь окончательно, что Симакова у нее нет, и больше не будет, она утратила прежний пыл, агрессивную егозливость и, обретя приятные душе, желанные хлопоты о выпечке, перестала бегать по деревне, по делу и без дела чесать языком, обливая всякий раз грязью Варвару.

Она не признавала уголь и топила разъявистую хлебопекарную печь только березовыми дровами. Симакову было вменено в обязанность снабжать ими пекарню. Дважды в неделю он притаскивал длинные сухостоины, всякий раз Настюха слышала, когда подкатывал его говорливый синенький тракторишко, в порыве бессилия хваталась за горло, немела, и это сверхусилие над собой помогало ей удержаться, не выбежать к Василию, не наделать новых глупостей.

Отцепив хлыст, Симаков уезжал, а Настюха продолжала стоять, слушая убегающий шум говорливого движка. Но когда он пропадал, и она прекрасно понимала, что трактор далеко,

давно за пределами слышимости, продолжала слышать его отчетливо, как слышала удары собственного сердца.

Проходило много времени, прежде чем она успокаивалась и отнимала от горла затекшие пальцы, и тогда сильный-сильный, болезненно-жалобный стон швырял ее на выскобленную добела широкую лавку.

Утратив чрезмерную полноту, ее тело уже не казалось рыхлым, как вспученное тесто, наоборот, белое, оно казалось туго умятым, не только не боящимся, а страстно ждущим ласки самого ненасытного и жестокого пламени.

Сил в ней было много. Невероятно много, как и своей собственной, не похожей ни на чью, любви к Симакову. Но появилось и нечто иное, одновременно усиливающее трагедию этой женщины и возвышающее её. Страдая, невыносимо страдая, мучаясь, она вдруг почувствовала, что способна удержаться от привычных ранее предосудительных поступков. Не совершая их более, она как бы подчеркивала, что отпускает Василия на все четыре стороны, готовая ожидать, сколько бы ни пришлось, когда он позовет ее сам.

Симаков не звал и не собирался звать, он, словно позабыл о бывшей жене, как забывают все недостойное долгой памяти.

4

Но отшумела и эта весна, и еще несколько ничем не примечательных в общей деревенской жизни, снова Маевка сбивалась в многоголосый задорный табор, вновь мужики и бабы махали остро вжикающими косами в логах да уремах, как в прежние годы росли стога па опушках, лесных полянах, поднимались на сеновале длинные скирды. Все шло по извечному кругу, круговорот деревенского бытия не менялся и не мог измениться без чего-то похожего на землетрясение. Еще кто-то уезжал из Маевки, а кто-то приезжал. Хомутов и Курдюмчик подновили избы. Андриан Изотович распорядился подвезти пиломатериалы деду Паршуку, домишко которого, подмытый особенно сильными минувшей весной тальми водами, вовсе наклонился и уперся иструхшим углом тесовой крыши в старую навозную кучу. Были заселены четыре дома на новой улице. Еще полдюжины стояли обрешеченными в ожидании шифера или железа, которого Андриану Изотовичу в официальном порядке никак не удавалось выбить.

И уже ни кто другой, как главный деревенский законник, сам Семен Семенович Задойных предлагал, виновато потупив глаза:

– Обмен ищите, менялись ведь в прошлые годы... Что теперь!

Его неожиданная уступчивость вызвала раздражение, Андриан Изотович глухо сказал:

– Нет уж, хватит, давайте теперь на эти жерди нашу честность натягивать. Ей будем крыши крыть... Между прочим, колосников, дверок, вьюшек для печей тоже нигде нет, а вот Игнашка Сукин говорит, пожалуйста, хоть машину приволоку. В Славгороде на ремзаводе целое производство открылось.

Задойных не поднимал головы, хмурился Савелий Игнатьевич, крикнул досадливо Курдюмчик, удивленный поведением Грызлова.

– Все! – беспощадно добивал их бывший управляющий. – Сколь отваят на бедность нищим, столь и отвалено будет. Хватит.

Сидеть в конторе было невыносимо. Он вышел на крыльцо, сбежал к мотоциклу. Рыкнув газом, обдал мужиков пылью.

Встречный ветер, упираясь в грудь, словно пытался остановить его стремительное движение, но уступать Андриан Изотович не желал ни ветру, ни черту, ни дьяволу. Всем телом подавшись вперед, пригнув упрямо голову, он, пытаясь утишить сердце, сорвавшееся с привязи, выжимал из мотоцикла все, что можно было, летел, не разбирая дороги.

Ведь не так виделось впереди, когда он кинулся спасать деревню. Не так! Чтобы Россия, бескрайняя Сибирь-землица, да без деревенок на каждом шагу?

Пусть и запущенными, расхристанными, утопающими по уши в грязюке-навозе, но... живыми, гомонящими вездесущей детворой.

Ну, что же она тогда за Россия-держава?

И не трудностей он боялся, не того, где хватит или не хватит, и как достать, если не хватит. Боялся предугадываемого, а теперь наглядно обозримого равнодушия к самому дорогому и единственному, чем он всегда жил и должен жить, и самого главного, встающего во весь рост укором, что люди окончательно стали никому не нужными. Обыкновенные люди, в которых сохраняется нужда только как в бесчувственных исполнителях и бессловесных трудниках, обихаживающих покорно и послушно землю, производящих в поте лица зерно, молоко, мясо, но не нужных самим себе.

Не люди нужны современной и трескучей власти, изменившей былой мировой замах на «догнать и перегнать», на еще большую устремленную волну-перестройку с задачей, не много, не мало, усовершенствования структур управления народным хозяйством. Объявлялись реформы под лозунгами «перестройка», «ускорение», «гласность». В экономике прицел был взят на расширение самостоятельности предприятий и возрождение частного сектора, под строгий и обязательный госзаказ, способный стать серьезным тормозом и усилить коррупцию. Новый курс предполагал модернизацию советской системы, внесение структурных и организационных изменений в хозяйственные, социальные, политические и идеологические механизмы. В идеологию перестройки вводились либерально-демократические принципы разделения властей, защиты гражданских и политических права человека, о чем говорилось на каждом углу, на каждом телеканале, словно позабыв, что стране требуется больше и больше зерна, молока, яиц, овощей и пустых магазинах. А почему, где прореха в общем кармане, куда расползается-улетает? Жить дальше-то как; закрыв глаза – есть я на свете и ладно? Так не получается, с закрытыми глазами намного страшнее. По-прежнему крутятся и выкручиваясь, как бог на душу положил? Но и ему надоело, – вздыхал Андриан, – Не тот, что вчера, устал и отбегался. Передать дела другому? А где взять этого другого, чтобы он... с Маевкой навсегда?

Нет этих других, сплыли. И нас уже нет...

Мысли его были скорее грустными, чем злыми. Грусть и упругий ветер охладили нахлынувшую горячность, мотоцикл побежал спокойней и тише.

Так что же деревне дано на текущий момент по существу? Почему в газетах – громко и праздно, взалхлеб и торжественно, и почему это громкое не находит в нем твердой опоры, нужной именно сейчас, в крутую минуту.

Где, как сказать во весь голос – а там хоть под расстрел, – чем страдает он, его туповато-упрямые мужики с корявой косноязыкой речью и глуповатые бабы!

Да, да! Люди глупы и слепы, что в них высокого и нравственного, кроме привычки к послушному повиновению, вбитой принуждением и страхом?

Писать и читать научили – эва, заслуга! А писать-то кому и когда... Как и читать, когда с утра и до вечера в нудно тупой работе, а электричество лишь не дольше двенадцати.

В книжках много умного, да по книжке не проживешь. Начнешь сравнивать и выводы делать, такое начнется в мозгах, что в заднице засвербит... Они, умные мысли, и стали врагами.

Человек, человек! Что же ты за Божье создание, создав которое Бог и проклял дело своих рук. Ведь, проклял! И отдельного человека, начиная с Адама и Евы, и весь его род. Почему? За Бога, если он все-таки был или есть, никто не ответит, как бы церковь не тужилась и не напрягалась в философствующих стараниях, ссылаясь на десять заповедей, а человек поистине грешен до мозга костей. Был всегда и остается грешным!

И не будет другим, не с чего взяться – лишь помани пальцем и пообещай... Дерьмо – человек, и никакой он не придуманный человечиче, обычная козявка. По сути, всем наплевать

на самих себя: обеспечить куском хлеба, крышей над головой, бабу под бок, чтобы в штанах не чесалось, да валтузить от скуки было кого, вообще перестанет думать и соображать. Как было изначально из-под палки, так и осталось... за редким исключением. Творцы светлого будущего, когда в избе запустение...

Вот и он для того же... как безжалостный кнут. Вовремя не подстегнешь...

Что же случилось-то, если уже не радуется крестьянскую душу самый высокий урожай? Почему общее и общинное, как было когда-то, общим так и не стало. Не общее и не частное, и без хозяина.

Что принесло укрупнение сел тем, хотя бы, кто укрупнился охотно, без возражений?

По-прежнему ни дорог, ни газа, ни электричества, чтобы на полную ночь, а люди как разбежались при первом удобном случае, так и разбегаются – через два-три года опять укрупняться среди укрупнившихся.

Задавать вопросы и самому отвечать трудно не потому, что ответов нет, а потому, что отвечать, как подсказывает разум, страшно даже самому себе. Андриан Изотович боялся уже себя такого, опасался овладевавшей растерянности и тоски, грусти, и озлобленности.

Лучше уж в застоле сражаться с тем же Данилкой. У того пока путанное, в мать пере-мать и на одном крике, есть возможность не соглашаться и даже поучать. Но ведь и Давилка не из последних, скоро допетрит, в чем корень лиха – прозрение свое возьмет.

И Курдюмчик с Ветлугиным способны, еще кое-кто, как бы он к ним не относился, и тогда...

Немыслимо подумать: тогда они уже единомышленники в том, что противоестественно самой природе народного государства, за которое он всем сердцем с первого часа и шага.

Народное, язвы в печенку, а народом не пахнет.

Слишком очевидной была эта придуманная «народность» для нормального человека без пелены на глазах, общинная, которой он захватил, была намного понятней, и Андриан Изотович уже не хотел ни думать за всех, ни представлять себе будущее, в котором человека вообще может больше не быть.

Человека с мозгами!

Человека-личности и хозяина хоть чего-то еще.

Настоящего творца и созидателя, которого начинали создавать и лепить общими силами, начиная с семнадцатого, но не осилили и Бога не переплюнули...

Невероятно и, естественно, через усилие, в манере какой-то отстраненности, теперь Андриан Изотович, при необходимости, вел себя как бы не понимающим обычно происходящего по своей ежедневной сути, под стать Пашкину. Не стыдился нести околесицу, вроде бы, опасаясь черное называть черным, а белое – белым. В этом для него находилось обманчивое успокоение и он, зная, что обманывает себя, радовался, заранее понимая, что долго такого не выдержит. Разве же допустимо, неужели там, в районе и выше, выше, не понимают неизбежного в развитии человеческого самосознания, чего сами и добивались? Неужели можно оставаться бесстрастным и бесчувственным, обманываясь миражами, уводящими в мертвое пространство, каким бы сверхпрочным занавесом не отгораживаться от мира, заведомо прагматичного, но не менее беспощадно жестоко и не совершенного?

Не мед, не мед! И там далеко не мед, а разум молчит.

Значит, всякие умники прошлых веков, вовсе не умники, а так себя, навозная жижа?

Вот вам и вывод по-книжному: эти чем дальновидней, сменившись уже тремя поколениями, ничего путного не создав, загнав страну в общий вонючий свинарник...

Глава шестая

1

Тишь стояла, безветрие. Освобождая от смуты и тяжести, в душу вливался светлый-светлый простор степей. Млело небо, и умиротворенными были размазанные дали. Ни стоны, ни жалоб – природа вообще никогда не жалуется, что бы с нею не вытворяли. Сбавив обороты, мотоцикл едва катился. Как же так, столько противоречий в тебе, Андриан? О чем тоскуешь, не о власти ли прежней?

Нахлестывая Воронка, закрепленного за табором, неслась сломя голову Надька Брыкина. Он снова крутанул ручку газа, намереваясь догнать и отчитать девчущку за лошадь, но уловив громыхание пустой фляги в ходке, догадался: Надька послана за водой.

И что Надька спешит, нещадно нахлестывая коня, вдруг принесло ему озаряющую свежесть.

Растут их дети, растут! На этой вот родной терпеливой землице. Спешат, захлебываясь радостью молодого порыва быть вместе со всеми, уже способны на что-то, и так ли им важно, как было раньше?

А как надо?

Как и кому?

А как надо им – кто-то заикнулся всерьез хотя бы однажды без строгости и намека?

«Может, в самом деле, пора на отдых? – спросил он себя, нажимая на тормоза и сворачивая на обочину. – Или полегче найти? Вместо какого-нибудь скотника-конюха?»

Накатилась поднятая мотоциклом и ходком густая проселочная пыль. Оставив мотоцикл, он шагнул дальше в травы и оказался на кромке поля. Пересвистывались на меже суслики. Парил в поднебесье крупный коршун. Волновалась на ветру набирающая силу изумрудная зелень. Все вроде бы оставалось как всегда, и не совсем.

Не совсем, если слушать себя, свое изношенное сердце, истрадавшуюся мужицкую совесть.

Разве человек, рождаясь, понимает, кто он и что? Зачем? Да нет же, от него ничего не зависит, здесь что-то другое. И живет, мало понимая зачем – живет, вот и живет, захочешь да не умрешь, а выключателя нет. И тоже как бы насилие непонятного рока-судьбины, тащи и тащи, чем наделен и чем сумел завладеть по случаю или удаче.

С новым недовольством колыхнулась тупая глубинная грусть, и Андриан вдруг ощутил расслабленным существом, как неоправданно коротка у человека его молодость.

Да, именно молодость, не вся жизнь. Безоглядно счастливая пора, похожая на мгновение, когда у тебя много сил и желаний, здоровой энергии, но мало умения, безграничны желания и смутны возможности их достижения. Когда впереди непредсказуемое, но не страшит, хочется любить и быть любимым. Когда подобная сотрясающая езда на телеге – как только что пронеслась беловолосая девчущка, – не просто опьяняющее удовольствие, а буйная страсть, доступная только в деревне.

Увлекательно жить на пределе желания и порыва; интересно просто хотеть жить.

«А с чего тебе вдруг расхотелось? – спросил он себя и тотчас ответил, так и не сумев избавиться от гнетущей грусти: – Когда насмотрелся и понатворил, не сумев почти ничего... Скучно, брат-копейка, вот с чего!»

Колышущееся поле не отпускало, манило вглубь, нашептывало, насвистывало, оведало, рисуя необъятные во времени и пространстве картины прошлого. Как всякое другое поле, оно знало не только хлебоборбские взлеты, но и падения, помнило бережное к себе отношение и давнюю небрежность, воскрешало вдруг четкими, широкими у горизонта набросками большие

и малые его столкновения с людьми, свои трагедии и присущие только этому полю комедии – за годы и годы, сколько было всего.

Нисколько не удивляясь нахлынувшим видениям, он пытался зачем-то переставлять их в памяти, заменить насильственно одно другим, но ничего хорошего и успокаивающего не получалось. Встающие перед ним полузабытые картины упрямо шло своим чередом, не желая ни заменяться, ни исчезать.

Их было много, этих бескрайних видений, по несколько на каждый прожитый год. И людей возникало много. Среди них он вдруг обнаруживал тех, кто давно должен забыться, ничем для него ранее не примечательных. Но теперь оказывалось, что приметное было и есть в каждом, каждый чем-то дорог и памятен. Незаметные, безотказные ранее, они тем и выделялись вдруг, что были безотказны, исполнительны, по-крестьянски надежны.

Не поэтому ли не замечались ранее, что были просто надежны? Не требовали к себе внимания, не выделялись и ни разу ни чем не подводили?

Причудливая игра воображения длилась долго. Набрал звонкую высоту, день его утомил. Солнце осилило свой зенит и, приглушив одни краски, четче высветило другие. Ощущение голода требовало возвращения в деревню, но двигаться не хотелось. Происходящее с ним в последние дни, наваливающееся странной тяжестью прошлого, не увязывалось с тем, что было кругом и не желало меняться согласно его тайным желаниям, в которых он сам начинал путаться. Чего же он хочет и что ищет, продолжая терзать свое сердце? Что за тяжесть довлеет над ним и куда приведет?

Как прежде по утрам накалялась рация и выдавала отчаянно смелые команды, требуя и повелевая. Как раньше бессчетно было совхозных и районных совещаний, где снова и снова заряжали их на прицельный будто бы выстрел, натягивали, как тетиву на лук, требуя больше мяса, молока, хлеба, овощей. Но всегда понимая, что стране действительно нужен хлеб и нужно масло, Андриан Изотович в какой-то момент действительно перестал это понимать. В нем что-то размякло твердое и незыблемое, не знающее сомнений, и перестало влиять на его волю и его желания. Раньше он мог раздражаться, вскипать, предугадывая неосуществимость надуманных указаний, а сейчас и этого не осталось – мели, Емеля, твоя неделя. Давно не хотелось ни говорить ни спорить о насущном с Кожилиным, пропал интерес к Чернухе, так и не сумевшему подняться над обычной хозяйской суетой, не было прежней радости от звенящей и звенящей острыми ножами пилорамы, не умилял и не вызывал знакомого восторга обещающий урожай тучный колос его заколосившейся нивы.

Вернувшись, во двор Андриан не зашел. Навалился на забор, поджидая идущую с ведрами Таисию.

– Там Силантий появился, – сказала Таисия. – Кажись, на пилораму поехал.

– Сгорел я, Тайка, – объявил он вдруг подчеркнуто спокойно, нисколько не встревожившись приездом управляющего. – Спекся в синий камень и ни во что больше не верю.

– В смерть поверишь... Вот когда придет.

Соглашаясь будто, он грустно качнул головой, снова вжикнул стартером.

Силантий и Савелий Игнатьевич сидели на солнышке у дощатой будки. Рядом грузилась пилочником совхозная машина.

– Посвоевольничали маленько без тебя, – начал, было, Савелий Игнатьевич, но Андриан Изотович отчужденно махнул рукой, не слезая с мотоцикла, вздохнул:

– Вот как надорванный, не поверите... А чем, не знаю.

– Дак устал, с таким-то характером не хитро.

– С таким характером не устают, Савелий, – не согласился Грызлов. – Не должны уставать. Потерял... Вот потерял, должно быть, ушло из сердца и уже не воротишь.

– А может, в больнице заменили?

На плоскую шутку пилорамщика Андриан Изотович не отозвался, вздохнул еще глубже:

– Эх, Силаха! Отдал бы я тебе Маевку, да ты теперь сам ее не возьмешь... Жить, конечно, будем, но нет у меня интереса к такой взнузданной нервотрепке. Где-то не понял я главного... что было понятно отцу.

Глаза его, подернутые туманом задумчивости, оставались незрячими.

2

Как ни странно даже для Андриана Изотовича молодежи за лето и осень снова прибавилось, в клубном тамбурке опять было тесно, шумно, визгливо, но появление Веньки оборвало разноголосицу. Парни захихикали, девчата зашептались.

– Привет Курдюму! – первым подал голос Колька. – В баптисты записался, не показываешься?

– Взяли они его к себе, бездушного матершинника, – рассмеялась Женя.

Косясь на Таньку, Венька молчал. В клубе он не появлялся всю зиму, с весны запрягся с отцом обновлять избу, но из виду деваху не выпускал. Она это знала, нередко глухими буранными вечерами и в столь же неурочную другую пору его зловещая тень ложилась на ее дорожку, глухое скрытое противоборство продолжалось.

В подобном противостоянии есть нечто фатально-роковое. Избежать этого рока попавшему в его сети в деревне гораздо труднее, чем в любом другом месте, где, встретившись однажды, оставив смуту, люди затем теряются навсегда. Деревня подобной возможности не дает, она сводит и сводит их вновь, постоянно подогревает и взбаламучивает страсти. Здесь иная логика поступков и действий, неотвратимее неизбежная развязка.

Сами они едва ли понимали, что уготовила им судьба, каким испытаниям подвергнет – молодость о таком думает меньше всего. Они несли свой крест ничуть не хуже и не лучше, чем несли его многие другие деревенские парни и девушки до них. Каждый по-своему рубил этот вековой гордиев узел и каждый будет рубить всегда как-то по-своему. Венькин хмурый, всепожирающий взгляд нагонял на Таньку нервозность. Танька передергивала плечами, вертела головой, время от времени встряхивалась плотным телом, но из тамбурка не уходила.

Грубая Венькина самоуверенность была порождением физического превосходства над соперниками, которой некогда кичился и старший Курдюмчик. В деревне были живы помнящие Венькиного деда, прозванного Барсуком. В мир, живое и веселое старовер чалдонского корня Барсук вылезал редко, двигался при внушительном весе по таежному бесшумно. Когда пришла пора обзаводиться женой, Барсук с неделю потолкался на вечеринках и, высмотрев подходящую деваху, выследил и обломал силой; а после упал в ноги ее родителей: «Благословите Христа ради!» Побили его люто, безжалостно, да куда от сраму денешься, оженшили. Так в затворе и прожил Барсук до конца своих дней. Ни худа, ни добра людям, только и отличился, когда постав на мельнице поднимали. Да не сразу пришел, а после уговоров. Почесав грудь, потоптался вокруг увесистой круглой каменюки, выбрал из толпы шестерых, подстать себе: «Че мудрить-то, руками давай». И уложили куда следует.

Не многим ушел от бесшабашных предков нынешний глава семейства. Когда не ему, молодому, ловкому, а степенному Хомутову доверили вывести в поле первый комбайн, психанул, посчитав за унижение, сорвался в Новосибирск. Никто толком не знает, как он женился там, но слухи докатывались: не затерялся парень в огромном городище, наделал шуму. Приехав схоронить мать, на поминках уже, бросая косые взгляды на Никодима, изгалялся над миром: «Наземные души ваши, комбайнеры они знатные, живут – сдобу пекут! Ну и живите, а я по асфальту катаюсь; три года, а резину не менял». И уехал, как его ни уговаривали остаться, каких благ ни сулили.

Снова он объявился в Маевке после войны, прямым из госпиталя, не завернув к семье в Новосибирск. В страшных ожогах, не долеченных ранах. Посидел вечер на могилке матери, а утром послал жене телеграмму, живой, мол, приезжай, жду с детьми на родине.

Но тот же Юрий Курдюмчик привязался к своему нечаянному обидчику, старому Никодиму Хомутову, и каждое лето работал только с ним, и скажи кто худое слово против Никодима, башку отвернет, не раздумывая.

Дружба эта никого не удивляла, никто не искал ее начал – война многое переоценила в людях, многое поменяла местами в душах. А начало было, и лежало на самом вершине. Просто, вернувшись к земле, Юрий хотел работать честно и достойно своему представлению о ней, согласно мечтаниям, которым отдавался вдаль от нее, под пулями и снарядами, и при всей запальчивой необузданности в поступках, любил честных в работе тружеников, каким и был в его понимании Никодим Хомутов. Другие лезут, где колос гуще, а Никодим – где поспел, начинает осыпаться, и не важно: есть намолот или нет, убрано будет вовремя. Все загонки отбивают, чтобы гоны выгадать подлинней, Хомутов среди околочков ползает, хвосты подбieraет, где особенной выработки не накрутить, хоть лоб расшиби. Наполнит бункер и загорает в ожидании выгрузки – кому охота машину в бороздах колотить?

Раз, другой наскочил на него Курдюмчик, и понял тихую совестливую душу комбайнера. С той поры и пошло, где летом Хомутов, там Курдюмчик, и что это – страсть, увлеченность, постоянство души – никто не знал, да и вряд ли всерьез интересовался.

Была своя страсть и у младшего в этом роду. Подобно родителю, работу Венька любил крутую, непосильную. В городе такой не нашлось, в городе ему показалось душно, тесно с первых дней, но Танька держала. На курсах часовщиков оказался случайно – а че, поучимся, чем баклуши бить! А потом, когда Танька не далась ему – там еще, в городе, – запала шальная мысль собрать самолично золотые часики и преподнести Татьяне при всем народе. На, мол, полюбуйся, какие штучки подвластны нашим грубым рукам.

Не успел, сорвались Савченко назад. Что делать, если смерть-присуха для него – Танька, сердце дня не выносило, чтобы не увидеть хотя бы мельком?

Прижился бы он в Маевке или нет, не встретится Ветлугин, кто знает?

«Ну, пошли... горожанин, – сказал хмуро, чуть свысока Савелий Игнатьевич, мельком окинув его крепкую фигуру. – Часы, они тикают, а пилы поют. Пошли, послушашь сколь, пока не надоест».

Крупный и звероватый пилорамщик будто не верил ему, не принимал надолго в расчет. Венька озлобился и пошел.

Пошел, чтобы доказать какой он породы, и уже не хотел над собой никого другого.

Леньку, конечно, в мыслях не было задевать. Из-за того же Савелия Игнатьевича хотя бы. Но если пацан иначе не понимает, Таньки схотелось, дурачку неумытому!

О часах и мечте Венька вспомнил сразу после ремонта дома. Смотался в город, разыскал шестеренки всякие, камни, винтики, не торгуясь в цене, подобрал нужный корпус, устраивая ночевки на горище, собрал, наконец.

Но собрать – еще не вручить, собрать, оказывается, намного проще.

«Бездушный матершинник! – скривился он, отчужденно разглядывая разномастный молодняк в тамбурке. – А у кого тут ее много, души той? Колька не психанет, Колька с хиханьками да хаханьками к девкам подкатывает. Сядне одной губы оближет, на завтра еще найдется желающая».

А если Нюркой попрекать – совсем глупо. Потому что со зла он с Нюркой, всем на потеху, в пику самонадеянному Кольке... Эх ты, кукла ярославская! Вбила в голову: не хочу и баста! А что хочешь, – известно? Разве – самой сверху быть и парадом командовать? И черт с тобой, командуй! С толком бы...

Горячо Венькиной руке, сжимающей часики. Вынуть, протянуть – на! Может сладить кто-то хотя бы схожие?

Колька, словно нарочно, чтобы позлить, озоровал вовсю. К Таньке вплотную притиснулся, облапил нахально:

– Тань, когда сватов лучше засылать, сколь такому добру киснуть без пользы? Давай приурочим к Седьмому, Паршука с тальянкой сговорю! А, Тань?

– После дождичка в четверг лучше, Коля! – выворачиваясь из цепких Колькиных лап, смеется наигранно Татьяна.

Колька вздохнул поглубже, затылком ощущая Венькин взгляд, качнулся непринужденно в сторону Жени Туровой:

– Нужна ты мне, задавака. У меня получше завелась.

Ускользая из его рук, Женя спела насмешливо простенькую рифмовку собственного сочинения по ходу дела:

Завелась подружка Нюра,

Безотказный человек,

Нюра поит и не воет,

Проживу я с нею век!

– Нюрка для тела, она общая!

– Нюрка хоть общая, а ты вот ничейный. То и зарядил на первое отделение.

Нет желания балаболить впустую, отвык за зиму или другое что? Собравшись с духом, потянул Таньку за руку:

– Слышь, Тань? Показать что хочу...

– Отстань... – Задохнулась яростью и презрением Татьяна, закричала на пределе: – Не вязни ко мне, Господи!

Не просто унять страшный гнев, не просто Веньке глаза опустить:

– Я же ниче, я – показать. Отойдем, покажу и все.

– Уйди! Уйди! Уйди!

Плакала Танька, упав на Женино плечо.

– Ну да, мы такие! Нас любить умеючи нужно... По Колькиному? А ну! – Ярость швырнула Веньку в толпу.

Шарахнулась молодежь по углам.

Женя загородила собой Татьяну:

– Не будь шальным, Венька! И они все – лишь бы позлить!

– В глаза ей гляну. Я...

Тяжел у Веньки звероватый взгляд, но не взять им Женю. Выставила упреждающе руку:

– Венька! Ох, не дури, мальчик! Не на меня ты напал.

– На кой ты мне, гуляй... Гуляй, Таня, мы своего обождем.

Венька вынул из кармана руку, шмякнул чем-то блестящим о пожарную бочку с водой, пошел прочь.

– Господи, часики золотые разбил! – охнула Женя. – Остолоп ты, Колька! Какой ты остолоп, честное слово... А ты, а ты? – набросилась она на Таньку. – Ничем не лучше, издадалась, прям, гусыня белокожая. Он сам собирал, хоть знаешь?

Слезы на глазах у Жени Туровой, боль в голосе.

– Себе можешь взять, – холодно бросила Танька, вырываясь из тамбурка на волю, – я не заказывала.

– Ты не того, случайно, Жень? – хохотнул многозначительно Колька. – Ой, Женька, гляди, поздно будет!

– Эх вы! Да вы хуже во сто раз!

Надька Брыкина во главе бойкой стаи вылетела:

– Держи! Держи-ии!

Вдохновляемая белоголовой отчаюгой, стоя подростков гнала Петьку Симакова, ее, вроде бы, главного врага во всей деревне.

Но главного ли, и врага, кто разберет?

Колька ловко выбросил ногу, и кувыркнулся со всего маху малец.

– Дурак! – зыркнула зло Надька, опешив на мгновение и уже явно сострадавая Петьке. – Дурак и не лечишься.

– Да я тебя, шмакодявка! – подскочил Колька к девчужке.

– А если я тебя! – Не шевельнулась Надька, глазом не моргнула.

– Во-о, порода! – озадаченно хмыкнул Колька, и тут же охнул, стиснутый за шею могучей рукой.

– Кто-оо, пусти-и!

– Так што, не по нраву? Ну-к, а им? – Савелий Игнатьевич придернул Кольку к себе, пронзил гневным взглядом. – Руки пошто распускашь, паршивец, ровню нашел?

Больно было, повизгивал Колька чуть слышно и заискивающе.

Отпихнув его небрежно, помогая Петьке подняться, Савелий Игнатьевич гудел ровно:

– Поддаешься всяким... чересседельникам! Последне – поддаваться, крепче стой на земле, она стоячим силу дает, не лежачим. – Опустив руку на плечо Надьке, сказал подчеркнуто громко: – Мамка наша Варвара, поди, заждалась, пошли ужинать, дочка, после еще побегашь.

Его грубоватое мускулистое лицо с оплывшими щеками и мясистым носом, утратив холодную насупленность, опять посветлело, как вдруг потеплело оно в ту самую минуту, когда за больничным окном возникла Варвара с новорожденной. Прищурившиеся глаза добродушно смотрели на мир подростков, лучились весело. Руки, обнимающие Надьку, были ласковыми и заботливыми.

И вообще с тех пор, как он побывал в затишье больничного двора и увидел за оконным стеклом Варю-маленькую на руках Вари-большой, с ним произошли сильные перемены. Его густые, напушенные брови удивленно будто приподнялись и больше не затеняли темные с коричневым отливом глаза. В них, вовсе теперь не страшных и не бесчувственных, поселилось пронзительное веселье, молодая удаль.

Не менее он поражал возникшей говорливостью, желанием постоянно шутить.

– Трофим! – задирали он Бубнова. – Тебе тоже не грех мою линию продолжить.

– Смотри, в каком деле, – откликнулся Бубнов, не чувствуя подвоха.

– В самом важном. Дочке моей скоро жених спонадобится, давай успевай и сладим.

Бубнов кряхтел осуждающе:

– Один серьезный мужик был в деревне, и тот спортился. Вот оно, когда не по Сеньке шапка, пшик авторитету.

Горшок-младший хохотал, глядя на них, столь притворно ершистых, занозистых, становился на сторону пилорамщика:

– Не юли, дядька Трофим! Я бы тоже, да не с кем.

– Девочек ему мало – сучку корявому! – оставаясь добродушным и удалым, хмыкал Савелий Игнатьевич.

– Они к тебе льнут, на нас ноль внимания.

– Сами вы, как погляжу, нолики без палочек, – молодо гудел Савелий Игнатьевич и говорил, говорил о всякой пустяковине, откуда слова находились. В груди его гудело празднично и победно, доченька его ненаглядная, Варюха-кроха, виделась эдакой распрекрасной букашкой, и никак он ее, дорогое свое человечество, не мог представить ничего не значащим ноликом.

Думал он и о Надьке с Ленькой. Сообщение, что Ленька в Хабаровск не уехал, а зацепился в Славгороде, всерьез возмечтал об учебе, встретил бурно, подначивал Варвару ее бес-

покойными снами. Понимая, что с малым ребенком ей не ускочить к сыну, сдержанно успокаивал: «Ну-к што, меньше волнений, схочет, сам объявится, не за тридевять земель. Натура така. У него сложна натура, потерпи». И сам не ехал, не считая нужным беспокоить парня и веря в его самостоятельность.

Конечно же, на особицу думалось и о Надежде. Не так, разумеется, как о Варюхе-маленькой, не с тем тающим умилением, так ведь и Надька была совсем не та, что народившаяся дочка.

Размашисто вышагивая с Надькой темным переулком, он снова вспомнил дневной разговор с Трофимом и рассмеялся, представив падчерицу барахтающейся в постели с малышкой. Самозабвенно целующей розовое пузцо девочке и вскрикивающей непосредственно: «Прям, с ума с ней сойдешь, какая сладенькая она у нас! Прям, сладенькая-пресладенькая, никаких конфеток не надо».

«Да как – никто? – укорил он будто пилорамщиков. – Ноли вам без палочек! Поболе бы всем разных таких ноликов, оно земле поспокойне».

Надька тарасилась на него снизу вверх, тараторила и тарachtела о чем-то, не достигающим сознания. Потом показала на себя, всю белую. Оказывается, и он был белый, и начал поспешно отряхиваться, недоумевая, когда же так обсыпало опилками.

Но это белое было холодным, тающим под рукой, на опилки не походило.

Падало, падало. Кружилось.

Надькин голос звенел радостно:

– Снег! Снег пошел, неужели не видишь?

Падал крупный густой снег.

3

Не по-сибирски мягкой выдалась эта зима, почти безветренной. Морозы не ощущались до середины января: придавит на денек-другой и отпустит, прижмет, звонче накатив звуки, и ослабит жгучую удавку. Сани привычно поскрипывали. Хрустел снежок под валенками на доярках, встающих ни свет ни заря, чтобы успеть на дойку и не получить нагоняя – деревенская жизнь, как вековая телега: и разваливаться не разваливается, как-то склепана, вроде бы, не серьезно, а раздернешь на половины – пес его знает как получается, но держится, цепляясь одна за другую. Особенно зимой, по утрам, когда морозец покрепче, похрустывает с особой пронзительностью и держится, главное, что-то за что-то цепляется, как утопающий за соломинку.

Катится, катится изо дня в день да из года в год, переходит из столетия в столетие под звонкие взрывы петард и прочих ярких огней праздничных столичных салютов, забредая, словно бы по ошибке в забытые деревенские проулки, умеющие страдать, плакать, радоваться наперекор судьбе и человеческому бесстыдству в отношении к деревне.

Жизнь – она жизнь, похожая на кривые проселки. Она в одной стороне, мужичек на другой – у дороги тоже ведь две колеи, а житель глубинки – скотинка приспособленческая, что с ним случился, когда вся Советская власть за него грудью, знай, селяет да переселяет под зорким оком партийных вожакон, заботится день и ночь о чем угодно, только не о зарплате!

А зиме наплевать; снег падал ровно, и его было много.

У магазина, опечатанного с Октябрьских – прогорела все ж Валюха и, разумеется, не без помощи Тарзанки, передавала дела Катьке Дружкиной, – толпились бабы. Из-за Катьки Андриан Изотович полаялся с председателем рабкоопа, который наотрез воспротивился направлять молодого специалиста на малоприбыльную точку. Но Андриан Изотович настоял: наша, нами направлялась на учебу, нам и отдавайте. Теперь вся деревня, вернее, женская ее половина, изнемогая в известных муках, ожидала Катькиного боевого крещения

за прилавком. Каждой бабе непременно нужно было стать первой покупательницей, каждой хотелось увидеть собственными глазами, чему выучили местную деваху в той хитрой торгашеской школе: Маевка не меняла главных привычек, все те же людские страсти, прежнее недоверие, что за пределами им недоступного.

Да и что с ними делается, с этими, вьевшимися, подобно рже в железо, страстями-обычаями, если родились они раньше ныне живущих на земле и способны пережить еще не одно поколение!

Свершилось, отворила Катька дверь. Длинноногая, прям, лупастое диво с экрана, в белом халатике. Подросла за год учебы в Барнауле на целую голову. Личиком проста, уж не в мать с ломучими бровями, улыбкой приветлива, но не игрушка вам, не кукла, поймите это ввиду сразу. Изяществом души да тонким обращением, прям, так и дышит на расстоянии.

– Проходите, женщины. Линолеум задрался, не запнитесь, пожалуйста.

Какой там задранный линолеум! Этим бабам, вынесшим на своих крутых плечах издевательства Советской власти, начиная с обобществления скота и палочек-трудодней, любая загнутая жесть нипочем, всюду пройдут, любую дверь на себе вынесут.

И прошли, а Катька на улке осталась. Стояла, растерянно хлопая глазами.

– Ты че же такая недоклепанная, Екатерина! – Камышиха вылезала обратно, потная, разгоряченная давкой – не сумела в первый ряд пробиться. – Давай, разгребай за мной посмелее, теперь – только на танке. – И закричала, не жалея голосовых связок: – Бесстыжие, лишь бы самим! Будет она с вами чикаться, закроет щас, тогда дойдем, может быть. Ну-ка! Ну-ка, подбери маленько брюхо-то! Разъелись они за зиму, прям, по полному центнеру, как из откормочника Таисии. Ты где, Катюха? Не отставай, я тебе не участковый с наганом.

Пробилась, подняла доску прилавка, впустила Катьку:

– Взвесь-ка мне, Катерина, сахарку с килограммчик.

– Вот сатана, не Камышиха! – восхищались Елькиной находчивости – Отколет номер похлеще, чем в цирке.

– Участко-овый! Уж эта, не хуже Настюхи, последней никогда не будет.

– Настюхи нет – ее счастье! Была бы Настюха, еще не известно!

Выждав, пока голоса приутихнут, Катька сказала, взроровев слегка:

– Помню, в клубе когда-то толкались, в кино лезли... Ну, хорошо, разве?

– Гли-ко ты на нее!

– Катька, что ли, порядок наводит?

– Э-ээ, молодуха незасватанная! Ты торговать явилась или лекцию читать? Адресом случайно не ошиблась?

На шумливых дружно прикрикнули Таисия и Хомутиха. Смолкнув ненадолго, толпа снова загудела. Уже чинно, степенно.

Катька взвешивала добросовестно, аккуратно, что сразу бросилось в глаза; ей бесхитростно подсказывали:

– Не морочь ты голову своими граммами, смелей давай, Катя.

Катька смущалась:

– Я задержусь, если что, не волнуйтесь.

– Мы за тебя волнуемся, не за себя, у тебя-то пшик выйдет, а не торговля. Уж если у Валюхи на две тыщи...

– Не учи, сама научится.

– А-аа, все одно смелее, Кать! В речке купаться да не напиться.

Катька совсем успокоилась. Руки ее замелькали проворней.

Очередь не заканчивалась; потоптавшись в магазине у Катьки и не сделав покупки, Нюрка вдруг домой сорвалась. Ненадолго скрылась в пригоне и снова вылезла на божий свет среди суметов, вознесшихся до звездного неба, полезла пологим сугробом к дедке.

– Да помоги ты мне с ними, дедуля добренький, навовсе измучилась! – затараторила, наваливаясь на косяк, тяжело дыша.

Торчащие из рукавов фуфайки-маломерки крупные руки ее были красными от холода, мокрыми. И коротенькие резиновые сапожки на толстых ногах были мокрыми, унавоженными: обзаведясь домом и хозяйством, развела Нюрка птицу, овец, откармливала боровка. Не узнать было Нюрку, куда подевалась былая беспечность. Более того, живое, оно живое и есть, бекая, хрюкая, кудахча, жрать просит. Не сумев заранее запастись кормами, конторская уборщица нахальненько потаскивала с фермы комбикорма, обхаживала Игнашу Каурова, который, едва не с рождения при складах, при токе, отходах, зерне. Но с Игнашей у нее выгорело лишь однажды, Игнаша самолично завалил в тракторную тележку Симакова полнехонький куль отборной пшенички, подмигнул: «доставь Нюрке, услужить просила девка». Василий было заартачился: если Изотыч прихватит с ворованным... Но Игнаша – натура широкая, не от себя кусок отрывает, на другой мешок указал:

– Дак и себе прихвати, бекало Паршуково совсем, поди, отошало.

И Василий принял щедрый дар Игнаши, жалость к старику победила.

Впрочем, и без Игнаши он мог бы снабжать дедову и Нюркину живность, ежедневно дело имел с фуражом, да не додумывался до простенькой наглости – не полностью выгрузаться на ферме. Но тут – сколь есть ее, совести, у каждого, столько и есть, это уже от природы.

Вечером того же прошлого дня, получив пшеничный подарок Игнаши, Нюрка, косматая, злая, как пантера, ворвалась к дедке в избу, набросилась на Василия едва не с кулаками:

– Ты ково подсунил мне там? Ково мне подослал, морда, испитая наскрозь? Я его, дружка твоего не обсемененного, как человека просила, а он че завьдумывал? С Игнашей бы я не валандалась, уж совсем без разбору вам Нюрка! Я на горбу лучше словчусь... Молоденькой да гладенькой схотелось Игнаше-кастрату...

Шила в мешке не утаишь, неудачное похождение Игнаши к Нюрке стало известно деревне. За проявленную похоть Игнашу дружно осуждали, над его неудачной авантюрой соблазнить Нюрку довольненько посмеялись. Но и тут необходимо уточнить. Насмехались-то над ним, не как над пройдохой каким-то, наконец-то попавшим впросак, глумились над мужской убогостью, возомнившей за пределами нормального разума, если он еще сохранился у Игнашки на старости лет, в каком бы то ни было зачатии, и невесть чего захотевшей. Нюрки схотевшей, придурку в стариковских кальсонах, наливного сытного яблочка! Нюрка враз набила себе цену, с неделю, если не больше, с ней говорили подчеркнуто уважительно, здоровались по-особенному, будто с известной артисткой.

Но на время, на время; в деревне все возвращается на круги своя, вечному забытию не поддается из поколения в поколение, кто, когда суп пересолил или кашу испортил.

Теперь овечки ягнились, Нюрке требовались мужские руки, чтобы сделать выгородку в пригоне.

– Ну, дедка, едрена твоя канитель, – отпыхиваясь, говорила она весело, – ну пошли, сучок замороженный. Ково я с ними одна.

– Ярку мне отделишь весной, – кряхтел Паршук, сваливаясь неохотно с лежака. – Разведем овец с Васюхой на шерсть, ить носков не напасешься.

– Сама навяжу! Навяжу, дедка! Да не из овечьей, а козьей – я же на пробу расширения хозяйства козочек завожу, вот те крест! – Она обмахнула себя перстом, рассердив неожиданно старика, прожившего жизнь без всякого Бога.

– Кобыла такая, – искренне возмутился Паршук, уважающий степенность и порядок, о котором толком почти ничего не знал, но тянулся простоватой душой обыкновенного обывателя, – пальцы хоть правильно сложи. Едрена мить, крестится ище, шалава.

Пока они кряхтели вдвоем у Насти в пригоне, подоспел Василий, не обнаруживший старика на лежанке и забеспокоившегося искренне: ну, а где, кроме соседской калитки? Пошатав поставленную кое-как перегородку, буркнул:

– Плотники выискались! Петух вскочит спросонья и завалит.

Отобрав у деда не по ручонке тяжеловатый топор, вогнал новые гвозди, вколотил распорки: и все как бы походя, на одном дыхании.

Пока он, задирая мордашки ягням-двойняшкам, дуя в них, смеялся и баловал, Нюрка убежала и снова появилась. Без фуфайки. В тоненьком, облегающем платьице, в котором ее вольному телу было невыносимо тесно. Приветливо ласково позвала в избу.

– Айда, Вася, нас не убудет, по рюмашке не грех пропустить, – охотно поддакивал дед.

– Ну, гора с плеч, вот что значит мужики! – подливая и подливая в стаканы, обхаживала Нюрка работников.

– Хозяйственная ты деваха, Нюрша! – воспарялся умиленно Паршук. – Оно так спокон веку: у ково хозяйство в голове, тому не об чем боле думать. Хозяйство, Нюрша, вершинка мужицкого стержня! Как дерево в рост! Это какая ты в хозяйстве, такая во всем остальном. Во все-ем!

Бордовая от похвальбы, Нюрка смеялась звонко, томненько посматривала на Василия, но лишних вольностей не позволяла.

Захмелел дедка – много ли надо шибздику на палочке: завелся гундосо-ликующе:

– Васюха, вдарим посреде зимы, едрена мять, на всю катушку. И-и-их, милые мои, головки позолоченные! Гармонику надоть к этому делу.

– Чудная жизнь! Вот и ты в путние бабы выбилась, Нюрка. – Василий был в меру добродушным рассолоделым.

– Чудна наша жисть, катится колобком и нигде не спотыкается! – блаженненько подхватил дедка.

– Да че чудного, бестолковка одна, – сказала Нюрка. – Для вас баба – как подметка у сапога. Есть – хорошо, хоть не видно, да приятно, нету – ногу колючки жалят. Баба вам, тогда баба, когда при мужике, а без мужика какая она баба, лапай, хватайся, кому не лень. Вы по дороге-то ходите в сухую погоду, а грязно да склизко, первыми на обочину... мнете, не глядя, свежую травку, и горя мало... А травка-то нежненькой бывает, Вася-холостяк. Не всякая после подняться способна, и сохнет-вянет, не набрав красы.

– Об чем, об чем это ты, Нюраха-свиристелка? Об чем, деваха?

– Да об том – угощаешься плохо? Али сладенькое мое не по нраву? Давай, подмогну маленько?

– Подмогни, едрит нашу! Валяй, Нюраха-задаваха! Сничтожай!

Вызывающе блеснув глазами, полными какой-то затаенности и страсти, Нюрка схватила его стакан, опрокинула в себя, вскрикнула с вызовом:

– И пить буду, и плясать буду, а смерть придет, помирать буду! Неси гармоничку, деда! Уважь, ввек не забуду нонешний вечер!

– Ох! Ох! – блымал забусевшими глазенками Паршук. – Таку деваху-разгуляху, да нам с тобой, Васюха-немота. Ты ище не дохлый, едрена мить! Ну, ну, держись, у Нюрки сегодня нужда в тебе, ажно свербит в одном месте. Ты – ей, она – тебе, управитесь... Нюрша, ты где? Ты стой, не егозись! Засватать те Ваську? Хочешь себе такого кобеля непутевого? Я враз! Чик и готово! Он меня послушает.

– Поехали, поднимайся, чикало. Темень кругом непроглядная, потерю в сугробе. – Симаков потянулся за колушкой, но Нюрка опередила, руки их стыкнулись и не сразу разошлись.

– Останься, Вася. Куда его... на руках разве нести... Хочешь еще? Налить? Сладше меда налью тебе... Васенька.

– На обочину манишь, зелену травку мять? – Симаков криво, недобро усмехнулся. – Не пара я для тонкой игры. – Набрал жадно воздуха, рывкнул зло: – Пошкандыбали давай, бродяжка старый! А ну, поднимайся, развалился! Меня пить отучал, а сам... Эх, греховодник!

– Приходи, Вася... Я к гадалке ходила, мне указано на тебя... Приходи, когда хочешь. Хоть посреди ночи.

Колобком катится жизнь. Из города в деревню, из деревни в обратную сторону на всех парусах. Из проулка в проулок, по асфальту и лужам. И где задержится, совершив обыкновенный человеческий грех, не знамо, не ведомо: Симаков лез по сугробам, волоча Паршука под мышкой, плевался и кого-то громко материл – что еще у русского человека, измордованного за века, начиная с зуботычин крепостничества, кроме ядреного сочного мата, вздымающего веси в глухую темную пору.

Глава седьмая

1

Ровным натуженным гудом гудела огромная печь. Ее черный, вместительный зев, увешанный лохмами сажи, озаряясь высокими языками огня, притягивал Настин взгляд, и будто не березовые дрова в нем горели, а сама она, Зырянова Анастасия.

Была Зыряновой, да сплыла, ни разу лет двадцать не называли.

Тошно ей было до одури и светопреставления, самой хотелось сгореть как можно скорее, подобно дровам, умчаться навсегда в невесомость бесшумным сизым дымком, да кто же бросит её в печь, подобно полену?

Все кончилось, ничего ни вернуть, ни исправить. Какое ей дело – будет Маевка на земле или нет, бегать по ее опустевшим заулкам, по колено в траве, чьим-то ребятишкам или не бегать, она-то свое отбегала и отстрадала.

Отлюбила, не согрев как следует истерзанную бабью душу.

Затопив печь, как всегда задолго до рассвета, и дожидаясь, когда она наберет жар, Настюха словно забыла, чем должна заниматься. Печь была бы давно готова, и давно бы Настюха могла посадить в нее хлеба, но, по-прежнему оставаясь бесчувственной, незрячей будто, подбрасывала и подбрасывала крупные поленья, пялилась бесчувственно в кроваво-жадное пламя.

Вот вам и любовь по-деревенски – нету вам, да? Не умеют в деревене страдать и метаться, сгорая, как... какая-нибудь Дездемонна?

А если все-таки есть, да понять некому?

Вот вам и зубоскальство! Оно, когда из души через сердце, тут не враз разобраться, у кого чего больше и на чем замешано. Ишь, увела она мужика насильно! А лейтенант Грызлов чего ж не пошел? Не пошел, к Тайке вернулся? Факт, не пошел. А другие, кто пользовался ее пышным телом? Не хуже городских ссыкух ублажала... шоферов тех же, приезжих, и где? А к той все липли... Ни тела, ни дела, слово сказать не умеет, не то, что глазком подморгнуть, а липли, хоть с кем получалось, лишь пожелай, Варюха.

Нет мочи Настюхе больше страдать, надрывая сердчишко, колотящееся на пределе. До доньшка вымерзло и выстыло в ней за долгую страшную зиму свалившегося одиночества, как-то сразу вынудившего смириться, что на этот раз Василий уже не вернется.

Сразу, как только накричалась досыта у Варвары в избе.

Дома, в странно равнодушном бессмыслии к случившемуся с ней и Василием, она не упала на постель и не разревелась, а принялась старательно за хозяйство, словно раньше кто-то мешал, отвлекая на другие дела, и была занята нужными и менее ненужными бабьими хлопотами почти до утра, стараясь не потревожить Петьку. Прикорнув накоротке, в предчувствие рассвета снова вскочила, озабоченная будто бы завтраком для Василия, и вдруг поняла, что случилось, и Василия у нее больше нет. Оглушила по-особому пронзительно тоскливая мертвая тишина, ужасающая пустота избы гулко взорвались в ней, в ее черствой душе, заполненной черной злобой, разнеся на мелкие осколки и злобу, и зависть, и ненависть, избавляя, вроде бы от всей этой собравшейся в ней тяжести. Светало, светлей и светлей становилось в избе, удивляя подобными превращениями. Не веря тому, что с ней происходит и что душе действительно становится легче, свободней, она, затравлено оглядываясь, осторожно присела на лавочку.

Слезы пришли к ней не враз. Вначале, опережая то разумное, что должно было, наконец, проникнуть в ее сознание, появился всеобъемлющий страх. Сковал и долго держал, словно связанную цепями. Потом будто окатило морозом и бросило в дрожь. С трудом приподняв

руки, она прижала их к бесчувственному лицу, и тут вот, точно оттаяв от собственных теплых ладоней, повалилась на лавку, заколотившись в истерике.

Хлынувшие из нее слезы уносили часть ледящей надсады, и она их нисколько не сдерживала...

С тем и живет, выплакавшись и словно очистившись. Ни злобы, ни зависти, не понимая, есть в ней живое или вымерзло, покинуло мертвое тело, в котором ни страсти и ни желаний, или ужалось в горошину, притихнув до часа.

Пуск пекарни пришелся кстати, и Настя с благодарностью приняла предложение Грызлова, в первый раз, за долгие годы не предъявляя ему бестолковых претензий. На святом отношении к хлебу и крестьянской бережливости закладывалось ее детское представление о жизни, и она снова словно почувствовала былую молодость, желание мять и месить тесто, задыхаться в огне, бьющем в лицо.

И еще вдруг ощутила с поздним отчуждением к себе, что присутствие Василия ей было нужным, как необходима теплая одежда зимой. Что не смогла бы пожертвовать ради него жизнью, удивившись, сделай и он что-нибудь ради нее.

Но вот за хлеб, доведись, отдала бы себя, не раздумывая.

Ее любовь к Василию была, в какой-то мере, любовью к самой себе и своему необременительно разухабистому существованию.

И все же это была любовь.

Своеобразная, эгоистичная, не готовая на большие жертвы и большие щадящие сострадания, но готовая на посильное ей соучастие в общей беде.

Она могла переживать за самое малое, случившееся с Василием, но переживала про себя, вслух крикливо высказывая нечто противоположное, чем страдала. Он был для нее, и его не было. Ей было трудно с ним, но без него, в своем одиночестве, еще труднее. Не собираясь ни терять его, ни расставаться по собственному желанию, она чувствовала себя рядом с Василием и самой разнесчастной и самой осчастливленной.

Ей хватало ничтожно малого, чтобы, продолжая поносить Василия принародно, как ни странно, чувствовать к нему свою женскую благодарность.

Она никогда не задавалась вопросом, богато они живут или бедно, и можно ли жить лучше. О заработке и семейном достатке судила в сравнении не с тем, что и сколько нужно семье, а сравнивая, что имеют близкие, понятные ей люди. Андриан Изотович, к примеру, и должен был жить лучше, он главный в деревне и возможностей больше, а Таисия, жена его, без зависти должна лучше одеваться, быть красивее, горделивей других, не имеющих подобного права по ряду вполне понятных причин, возможно, и не зависящих непосредственно от нее. И неважно, располагает для этого чем, или нет. Но попробуй так повести себя Хомутиха или Елька Камышова, Наталья Дружкина или та же Варвара, и она не смогла бы такого перенести.

Ее понимание своей престижности было настолько нелогичным, непостоянным, что она порой сама это чувствовала.

Пекарня неожиданно вернула ей и былую славу, и долгожданный почет, оказавшиеся вдруг ненужными. Тщеславие отступило, все, чем ей хотелось когда-то обладать, в том числе, самой ничтожной властью над людьми, которую она получала, став заведовать пекарней, потеряло изначально престижный будто бы смысл.

Меланхолично пошарив рукою у ног и не найдя поблизости очередного полена, она еще посидела в пространной, затянувшейся отрешенности, затем поднялась, набросив на плечи плюшевый жакетик, скоро стояла перед Андрианом Изотовичем.

Не все люди умеют беспокоиться текущим моментом, чего говорить о желаниях на будущее; живется, ну и живи. К таким Андриан Изотович смело относил когда-то того же Пашкина Данилу, ее, Настю, некоторых других, давно для деревни утраченных. Все они ему как-то мешали, вызывая ежедневные психи, требовали постоянного внимания. Изредка соглашаясь в душе, что Данилкина или Настина заполошность все же бывает нужнее иной молчаливой послушности, в свое время он легко расстался бы с каждым из них, и расставался. Но сейчас, когда перед ним стояла измученная женщина, неузнаваемо исхудавшая, почти больная, и непривычно робко теребя платок, покорно ожидала его решения, способного повлиять на ее судьбу. Она была не чужая ему, не близкая, но и не чужая, неожиданно вызвав сочувствие, и Андриан Изотович с невероятно ясной, пронзительно ясной определенностью подумал вдруг, как, же предвзято судил он о людях и продолжает судить, не понимая, где и когда мог научиться подобной бездушности.

Или так и должно быть в этой запутанной жизни, когда равнодушие становится основополагающим приложением к любой мало-мальски значащей должности, являясь неким спасительным щитом от просителей и страждущих, которым ты не в силах помочь?

Настюха не только для него, для всей деревни была едва ли не чем-то инородным, и будто враждебным. Много пересудов вызывала когда-то Варвара. Сколь всякого возникало вокруг пьянчужки Васьки Козина?

А Пашкина – баламута и провокатора-задиру не сильно тревожащегося о последствиях лично для себя?

Изначально, начиная с его упрямого родителя, тех же Егорши и Паршука?

Не только живая история в лицах – вся деревенская политэкономия с биографией прошлого и настоящего.

Что же происходит с людьми, и что происходит с ним? Как и почему рождаются в каждом живом и мыслящем существе – если он все же мыслящий – столь разительные перемены в отношении недавно привычного и будто незыблемого?

И есть ли настоящее незыблемое?

Куда он звал этих людей и к чему привел? Чем лучше он тех пустозвонов, обещавших коммунистический рай через два десятилетия? Где грань сверхчеловеческого все терпения, веры и надежды, самопожертвования, за которыми спрятано простое крестьянское счастье?

Жизнь оказывается обычным пшиком; окунули разогретую до белого каления в шайку с водой, пшикнуло, вскружилось парком и улетучилось. Что имеют они сегодня и что даст он им завтра?

Мало имеют – к бабке ходить не надо, на виду каждый и каждая, не спрячешь и не укроешь. Крайне мало. И осчастливить по-настоящему непосильно ему во всем обозримом будущем. Нужно и можно продолжать уговаривать, взывая к патриотизму и высокой морали, зажигать на новые самоотречения, готов он и к этому и будет так делать, а люди проявят лучшие качества и обычное послушание, насколько это в их человеческих силах быть послушными и покорными. Но разве не понимает он главного, что продолжать так жить не только противоестественно самой человеческой натуре, которая должна осознавать всякое дело и только потом начинать его делать, но и преступно.

У власти всегда есть задачи первого уровня, второе, третья и пятое. Всегда! Но почему сама человеческая жизнь и ее мелкое личное счастье всегда отодвигается и отодвигается на дальние задворки? Что же и где тормозит былой наступательный размах и само, полное чаяний и надежд, человеческое устремление, начинавшееся настолько понятно разумно и запутавшееся в трех соснах? Пожить-то ведь по-человечески хотелось! По-человечески! Наперекор не верящему отцу. И что? В итоге-то что, Андриан?

Ну, отпустит он ее. Подмахнет сейчас заявление и бывай, Настя Симакова, некогда Зырянова. А что дальше станет с тобой, Настя-Настюха... щедро одаривавшая когда-то его девичьими ласками?

Как и куда выстелется твоя новая дорожка?

Было почему-то странно и неловко сознавать, что когда-то он тоже сильно наблажил ради нее, и что, как женщина, с тех давних пор, она никогда его больше не интересовала, но сейчас Андриан Изотович вдруг увидел перед собой именно женщину, когда-то горячо бившуюся у него на груди...

Изрядно исхудав, Настя вновь была почти привлекательна. Привлекательна глубокой грустью, лихорадочным блеском в темных глазах, нервным подрагиванием тонких не крашенных губ, старательно подобранными пышными волосами, придающими Насте несвойственную самоуглубленность и сосредоточенность, которая будто возвышала ее и над ним, и над обычной земной суетой. И ему вдруг захотелось страдать ее страданиями, облегчив хоть как-то участь несчастной, случайно близкой некогда женщины,

И еще поднималось что-то доброе к Насте, и будто угадав его стремление быть добрым и сделать ей приятное, женщина опередила отрешенным голосом:

– На Симакове закончилась моя шальная жизнь, Андриан-гвардеец. Многие помнят и мягкое тело мое и бабью страсть – уж ублажала я... Сама никого, кроме Василия, не знаю, не помню. Это у Варюхи-подружки есть прошлое и будущее... У Нюрки. У меня горькая серединочка, да мужики, вернувшиеся с войны в орденах. Горькая, Андриан, похуже хины, да моя. Не пропаду, жисть, она везде круглая, отпускаяй, бывший дружок.

– Ты, Настя, вот что, – считая неудобным продолжать сидеть перед нею, Андриан Изотович поднялся, вышел из-за стола, встал перед окном. – Оставь его у меня, заявление, а сама... Нет-нет, я не отказываю, – заторопился он, – права на твоей стороне. Ты... – И вместо «походи, подумай», как собирался сказать, задумчиво произнес: – С пекарней как же? Тут интересы не только твои, ты снова стала нужна как воздух.

– Баб, что ли, нет? – Она нервно вздохнула и сказала совсем о другом: – Василий вот... Варьке не нужен, сопьется, боюсь...

В ее словах послышался скрытый укор и чистая сострадательность, свойственная, пожалуй, лишь русской бабе, умеющей бескорыстно прощать и не оглядываться. Андриан Изотович принял его без обычного раздражения, почувствовал себя действительно виноватым. И перед Василием, и перед Настюхой, которую называть Настюхой не поворачивался больше язык, еще перед кем-то незримым, стоящим там, за нею. Ведь, люди, какие ни есть. Из плоти и крови. Власть взяла их в шоры, а до ума не довела... как намеревалась, объявив свою ковку с перековкой на новый лад, преуспев лишь в одном, неприкрытым насилием.

Вот и живут, как живется, не долюбленные, не доласканные... не нужные даже ему, Андриану Грызлову, еще недавно бившемуся за каждую живую душу.

А кому теперь? Кому? Только на кладбище... накрывшись белой простыней, чтобы не создавать паники.

Он пристально всматривался туда, за Настю, на взгорок в сторону брода, словно пытался увидеть, кто же еще недоволен им, кто и чем готов укорить, но видел только противоположную стену кабинета с плакатами, призывами, лозунгами, засиженный мухами, поблекший от табачного дыма сановитый портрет с остреньким хищным носом.

Настя ушла еще более притихшая, нерешительная.

Ее брошенный с порога взгляд долго жил в нем, взывая к новым чувствам и мыслям. Теряясь перед этим неожиданным в себе, Андриан Изотович уже не мог работать. Думать о Насте не хотелось, но думалось именно о ней, и было неловко почему-то за все, что с ней случилось,

Неожиданно вошла Таисия, не любившая без нужды заходить к нему в кабинет, и так же неожиданно он сказал ей:

– Знаешь, Настя Зырянова принесла заявление.

Это давно не употребляемое в деревне «Настя», да еще «Зырянова» будто бы озадачило Таисию.

– Настя? – переспросила она, прислушиваясь, как звучит и для нее полузабытое имя. – Зырянова?.. Да про Симакову ты, что ли?

Что его взволновало, Андриан Изотович так и не понял. Мельком подумав, что Таисия может возрадоваться новости, решительно отмел нелепую мысль, буркнул с откровенной досадой:

– Наша ведь она, Таисия. Из одного с ней замеса, хотя дозревали по-разному.

– Так изломать всю жизнь! Даже не знаю, жалко или нет...

Не найдя в словах Таисии ни осуждения поступку Настюхи, ни злорадства, Андриан Изотович с горечью подумал о самом себе, той неотвратимости, которая скоро поставит и его перед выбором. Придет и его час писать схожее заявление.

– Кто же останется, Тайка? Кому передавать родилку, пилораму, землю наших дедов и прадедов... отцов, сгинувших в безвестии. А нам под старость куда?..

Боль звучала в его надсадном голосе, откровенная растерянность. Он словно был самым одиноким на родной земле, и не совета просил, а сострадания.

...Выжженная степь лежала у него перед глазами. Разливным неохватным морем колыхался серебристыми метелками высокий ковыль. У горизонта едва заметно просматривалась дымчато-сизая полоска ленточного бора, за которой начинались родные поля. Певуче-торжественно поскрипывали ремни на запыленной гимнастерке, давил на спину тяжелый вещмешок и оттягивал руку громоздкий чемодан, нечастые березняки-околки мчались навстречу скорыми облачками, а он говорил им радостно:

«Ну, ну, свои идут! Не узнаете? – Сбив размеренный солдатский шаг, присел, провел рукой по жухлой, колючей щетине степной гривы, произнес растроганно: – Ниче, узнаешь! Узнаешь, язви тебя, заживем на славу!»

Полумертвая травка рассыпалась под его рукой, хрустела недовольно под сапогами, вызывая в душе многое, безнадежно, казалось бы, позабытое на войне. А он, степью, колками, краем борка, выбирая единственную прямую, способную ускорить встречу с деревней и Таисией, шел поспешно, шел широким шагом, готовый, если понадобится, сорваться на бег, и говорил успокоительно хозяйское этой волнующейся и одичавшей бескрайности:

«Мы вернулись... кое-кто. Теперь в обиду тебя не дадим...»

Кому не дадим? Кто спросил или прислушался, и кто спрашивает, требуя поднимать руки чохом за новую резолюцию грядущих свершений...

Резолюции, пленумы, заседания, открытые и закрытые партийные письма – на каждой стене, а жизни на пшик. Жить-то когда, балаболы бескрайней державы, в душу ваши и печень!

3

Симаков лежал на кромке силосной траншеи, придавленный кабиной завалившегося на бок трактора. Из рта струилась кровь, но Василий оставался в памяти, советовал Петьке как можно спокойнее:

– Не ори, не режут. Дуй на пилораму, я потерплю... Не расстраивайся шибко.

– Ага, на пилораму, а ты как... А ты? – Петька поднырнул под трактор, брякал водилом тележки. – Тележку черта с два отцепишь... Отцепить бы тележку.

– Вот и снова весна. Солнышко... Земля оттаяла... Весна же, сынок...

Замкнутый во всем, что касалось личного, не сумев раскрыться до конца ни Варваре, ни Насте, он впервые растерялся по-настоящему, ощутив желание быть безогляднее в скупых своих чувствах, когда увидел на пороге Паршуковой избы робко переминающегося Петьку.

«Распутица... Нас на каникулы распустили... У тебя трактор, могу помогать».

Было радостно и хорошо, что Петька вспомнил, прибежал, не чуждается. Пытаясь удержать его возле себя подольше, он и придумал поездку за силосом, которого навозил на ферму еще днем, усадил Петьку за руль. Все в нем притупилось, расслабилось, и он потерял, очевидно, всегда присущую осторожность, «давай, сынок! давай жми!». И вот опрокинулись: осыпался талый бок траншеи, недосмотрели.

Когда колеса трактора начали проваливаться, когда трактор непоправимо накренился, пополз, он оставался веселым, бездумным, не сильно страшась начавшегося падения. Лишь мгновенно и остро испугался за Петьку, чудом успел вытолкнуть из кабины, и был рад, что с ним обошлось.

Тупая, как плита, саднящая боль словно пыталась разъединить его на две половины. В нижней, что оказалась под трактором, распространялся холод и бесчувственная омертвелость, а верхняя, включая грудь и голову, наполнялась кровавым жаром и нарастающим занудливым гудом.

– Беги... Петя, я вытерплю...

– Молчи, пока в крови не захлебнулся, молчи, я еще попробую.

– Не копайся, скорее... Ничего не выйдет...

– Потерпишь? Можешь потерпеть, если я побегу? – Петька отбросил вилы, которыми ковырял дерн. – Ты дыши ровнее, грудью не сильно дыши, слышишь, хрипит...

Василий закрыл глаза в знак того, что понимает Петьку, слышит, одобряет его советы.

Пилорамщики оказались на месте и не заставили себя ждать. Прибежали с вагами, встали бревешки меж стенкой траншеи и трактором, навалились.

– Каши мало ели, – гуднул Бубнов. – Она – маленький жук, но махина... Сыро, нет хорошей опоры! Петька, мчись на ферму – и бабы могут помочь.

Высыпала вся ферма.

Вечер был тихий и особенно светлый. Вытаянная соломка золотилась на дороге, на обочине траншеи. Таинственно и загадочно мерцал изнодреваченный снег.

Варвара, стискивая шею, шептала едва слышно:

– Вася! Вася! Вася!

Симаков заметил Варвару, нашел в себе силы улыбнуться, и она без раздумий впустила в себя его виноватящуюся будто улыбку-извинение, и что-то случилось такое, бездумно бросив к Василию.

Бубнов заступил дорогу, сказал угрожающе:

– Сопли утри, ему только нюней твоих не хватало. – Нахохленный и суровый, горласто распорядился: – Всем на ваги! Навались, бабы, на вас надежда!

Выждав, когда бабы возьмутся за жердины-бревешки, переставив кое-кого по-своему усмотрению, скомандовал:

– Разом на «три»!.. Дружно, пошли... Венька, Семен, не зевай, суй ваги глубже. Раз! Раз!.. Да мать вашу, не раскачивай взад-вперед, там живое лежит, не чурка безглазая! Еще, на раз!

Трактор откатнулся, повалился на другой бок, его удержали, подставив бревешки и столбики. Бабы волокли Симакова из-под трактора. Положили на солому.

– Доигрался, пьянчужка такой! – ругались от бессилия. – Зальют шары и носятся по деревне на своих драндулетах.

– Не выдумывай-ка, в обед он рази, выпившим был? И ни в одном глазу, будто не видно.

– В обе-е-ед! То в обед, а то вечером, долго с катушек слететь.

Симаков открыл глаза, вдохнув глубоко, застонал.

– Грудь помята, должно быть.

– Ее телегой прижало – трактор.

– Надо же, столь отвалилось! На целый метр ухнуло!

Примчавшийся Андриан Изотович опустился на колени, спросил:

– Ну, Василий, дышишь, живой?

Симаков открыл и закрыл глаза, сказал одними губами:

– Вроде живой, ног только не слышу. Она, язва... поплыла ни с того ни с сего.

Примчался Курдюмчик на машине, и Нюрка в кузове, похожая на ведьму.

Сиганула через борт, сверкнув толстыми голыми ляшками, пала Симакову на грудь:

– Ой, че же с тобой, Васенька, надеждынька ты моя несбывчивая! Как же ты так!

Если никому больше не нужен, и погибай, как попало! Да мне хоть какой – роднее не надо.

Вася! Вась, слышишь! Хоть какой! Хоть вовсе даже без ничего. – Заплакала по-бабьи горько

и неутешно, с подвыванием: – И-иии!

И у Варвары ручьями текло по щекам.

Выбираясь из толпы, она наткнулась на Савелия Игнатьевича:

– Господи, жалко-то как его, Савушка, сердце остановилось... Жа-а-алко. Ведь не чужой он мне, Савелий.

– Ну-к, понимаю, не понимаю, што ль... Обойдется, не убивайся почем зря, – горбился старчески Савелий Игнатьевич и обласкивал, оглаживал вздрагивающую Варвару.

– Беда случилась, а рядом никого близкого, чужие все... Кому нужен стал?

Савелий Игнатьевич замялся:

– В больницу готовятся отправлять... Сопроводила бы.

Не осталась незамеченной его бесхитростная доброта, Варвара всхлипнула жалостливее:

– Оно кабы на пользу, а то если не так подумает?

Нюрка шумела отчаянно в толпе:

– Сама отвезу, какое всем дело! Я сама за себя отвечаю.

– Ну, что, Василий, – распорядился Андриан Изотович, – давай отправляйся, ни заступиться бы.

Симаков помотал головой:

– К дедке рулите. Баньку сварганим с веничком, мазью разной натрет... Полежу денек вместо выходного.

И Настюха объявилась в толпе. Прошла, как нож сквозь масло, скакнула с маху в кузов, куда перенесли Василия:

– Допрыгался, холостяк недоношенный! Дошиковал с читушками! Хорошо, что так, хоть голова осталась на плечах и Петька живой, могло быть хуже... Как у всадника безголового – слышал? Наво все остался бы... как чурка. – Смерила ненавидящим взглядом Нюрку, заорала, как одержимая: – А ну выметайся, кошка шкодливая, он мне муж, не тебе... Чтоб духу твоего неслышно было рядом. – Сгребла толстую Нюрку, вывалила за борт, в снег, распорядилась властно: – Гони домой, Юрка; ему дома лучше.

– Ты не шибко, Настя, таким не шутят, – заволновались бабы. – Дело вовсе не чих-пых.

Настюха бровью не новела в сторону громкоголосых, знакомо-визгливо заорала на Курдюмчика:

– Оглох, баран не достриженный, ключиком он заигрался! Замерз ить мужик, трясет как лихорадочного, думаешь седне трогаться?

– Вези домой, Настя, – четко и внятно произнес Василий. – Домой хочу... Петьке пообещал.

Глава восьмая

1

Дом походил на сказочный терем, невозможно было представить, то это деревянное чудо создано простыми руками человека. Ленька был ошеломлен, ходил вокруг, замирая на какое-то время, задирая голову на высоченную хоромину, легкую и невесомую, готовую будто вспорхнуть, с резными наличниками и кружевами по карнизу, с высокими окнами, не застекленными пока, и островерхой надстройкой-мезонином – выдумкой мастера, раззадоренного под конец долгой, но вовсе не утомительной для него работы.

Смола выступала в пазах, пахло густо. Ветер гонял по двору мелкую стружку. Отчаянно заливались на крыше старой скворечни скворцы.

Дом был в пять комнат, с крыльцом, под которым вход в полуподвальное помещение, оборудованное под мастерскую во весь рост, чего сроду в деревне не делали. На верстаке огромная голова деревянного петуха.

Один глаз вроде бы косил, и Ленька, поставив фигурку, отошел, чтобы рассмотреть повнимательней.

Косил, точно. Он решительно взялся за стамеску и услышал за спиной знакомые тяжелые шаги.

Не оборачиваясь, басовито упрекнул:

– Глаз-то... Че же совсем?

– Дак, с каково боку глянуть... А так – што скажешь?

Савелий Игнатьевич переставил петуха на свой лад, слегка завалил на хвост.

– Так и ставить?

– В том хитрость.

– Ну, даешь!.. А хорошо. Неожиданно.

– А ты плохо, што – неожиданно, без предупрежденья. Хотя ждали, конечно.

– Брось! Наоборот – приехал и приехал.

– Ну ладно, если наоборот. Когда схотелось, тогда приехал. Пошли смотрины устраивать, пока матери нет. Прибежит – не успем осмотреться.

Самодовольный, с выпирающей грудью, отчим шел впереди из комнаты в комнату. Скакал по лагам, где не было еще полов, осторожно раскрывал некрашенные двустворчатые двери под стекло в верхних шибках.

– Вот. На два окна в палисадник. Тебе – решено всем советом. Штоб на вырост семейный – поди, будет когда-то семья, а ты – будущий голова. Здесь, тебе!

Не желая домогаться похвалы в свой адрес, вернувшись в прихожую, самую вместительную, с лесенкой на второй этаж, в мансарду, Савелий Игнатьевич потоптался на широких плахах, развел руками:

– Так отчебучили.

И словно не было у них расставания, будто не уезжал никуда один из них, точно не было того разорения, которое по-прежнему бросалось в глаза на старых деревенских улицах. В доме все ощущалось иначе: тверже, прочнее, незыблемо. Пахло живым и полным надежды. Ветерок был другим; заглядывая словно бы в гости, на пробу, оставался, никуда больше не улетал, шевелясь в стружках, сметая опилки...

Оставался, Ленька слышал его и радостно обмирал – домина какой!

– Ох, и скучал же я! – вырвалось у Леньки. – Ну, думал... А не поступлю – в жизнь не вернусь!

– Вот бы. Не всем удача приветы шлет.

- Ле-еен-ня! – влетела ошалелая Надежда. – Братка Ленечка!
Толстоногая, в мать, головастая, черти в кого, худющая, как бессмертный Кощей.
- Гляди на нее! Новая Варвара растет. Вытянулась... Ха-ха, толстой жопы как не бывало!
- Ты... Болтун городской. Сам жопа.
- Ну, че ты, Надька... Было и было! Ведь было, я просто.
- Невеста уже, а ты в краску вгоняешь.
- Ее вгонишь, она же у вас за атамана, говорят, на пару с Петькой Симаковым управляют вместо меня. Верховодит кто, не поддаешься?
- Дак ить, порода – дура. Каки сами, таки сани, таки не шибко кому поддадутся, – гудел в сторонке Савелий Игнатъевич.
- А Петька не пристаает?
- Надька супилась и молчала. Озадаченный Ленька снова спросил:
- Так мир или война до победного? Может помочь, как бывало?
- Сама не без рук. Пусть только попробует сунуться!
- Что-то было не так, но с первого раза не поймешь.
- Надька на шее, не отпускает брата, болтала ногами, не давая слова сказать.
- Была визгуньей, визгуньей осталась. Задушишь! Ну, Надюха!
- Уж не-е! Уж не-е! Я, поди, соскучилась, потерпишь. – Разжала ручонки, отпрыгнула, глянув по-новому, засмушалась: – Приехал наконец... Чудо-юдо наше.
- Куды без дома-то, без дома никуды, – бубнил ровно Савелий Игнатъевич.
- Трепыхнув сильным рывком, сердце попросило оглянуться.
- Мама!.. Мамка!
- Ох, Господи, наказанье мое! Из головы ведь не шел... То синим, как покойника, вижу во сне, в пот бросает, то в кровище, на куски порезанного... Савелия совсем замучила.
- Савелий Игнатъевич понял его нерешительность, подтолкнул ощутимо:
- Поддержи, если обнять стыдишься. Шатается, глянь! Грохнетя посреди всего... Што, для этово строил?..
- Прости, ма, дурак я, конечно.
- Савелий Игнатъевич привалился на стену. Лицо странно набрякло, побагровело непонятным перенапряжением:
- Ково-то не тово у вас. Ну, вовсе не так. Слезы распустили... вовсе лишне.
- А Варюха... Варюха маленькая где? Ее больше вас хотел увидеть.
- Уж больше, – улыбалась Варвара, размазывая по лицу слезы материнской радости. – Представления не имеет, а – больше!
- Давай сестренку... отец! Ну, давай, что ли, не жмись!
- Пошли, если так, – голос у Савелия Игнатъевича окреп, шевельнулись стены, скрипнули плахи.
- Пошли, отец! – визжала заполошно Надька, повторив вслед за Ленькой «отец». – Пошли, робята, Варвару главну смотреть!
- Ты, «робята главны», – уловив, как Надька произвольно подражает отчиму, засмеялся Ленька, – говори правильно, а то будешь на семи деревенских языках да на одном полукитайском.
- Шумел взбученный бегучий вихорок пыли за плетнем на улице. Шуршал и осыпался. Кокотали куры, щелкали ребячьи бичики, гомонили воробышки, заглядывая за необжитые пока ими наличники. Бойкий один дозаглядывался, свалился, прям в избу. Пырхнул над головами, чирикнул оглашенно с перепугу, вылетел вслед за Надькой в растворенную дверь.
- Пели, слаженно распевали над новым домом старые сизо-черные скворушки.

– Ладно, неделю, так неделю, я срок тоже люблю намечать, – выслушав утром пасынка, заявил Савелий Игнатьевич. – В трех комнатах полы да «скворешню» перекрыть – за неделю можно.

– Ну да, чтобы на сенокосе поработать.

Первым зашпешив на улицу, Ленька забрался на обрешеченную крышу, и будто бы поднялся непривычно высоко над всей Маевкой. Ощутимая за столом неловкость за недалекое свое прошлое окончательно исчезла. Летели резвые ветры, земля вдали будто колыхалась трепетно, содрогалась под напором происходящего в ней летнего буйства и в ожидании человеческого внимания к себе, заботы и новой ласки, колыхались вдали за околицей набирающие силу посевы, ходили вокруг деревни зелеными волнами. Ее чувственный трепет и внутренние содрогания не были ему ни в укор, ни в осуждение. Они подчинялись властно до боли знакомыми ритмами обычного животворного созидания, как положено и заведено из века в век. Сердце замирало – ослабевшее вдруг Ленькино сердце, – заставляя восторженно замирать и тело, и разум, и столь же неожиданно, откликаясь мягкими толчками, наполняло пульс, рождая произвольно легкие необременительные мысли.

Словно не замечая, что деревня потеряла за последние годы, Ленька с пристрастием осматривал ее новые приобретения. Над пекарней, как в лучшие памятные годы, вился густой терпкий дымок. Лезла в глаза новенькая бревенчатая пристройка к школе. Доски, бревна, кирпич, горы песка у клуба, некоторых изб вдоль дороги, убегающей на переправу. Перестук топоров на новой улице, облюбовавшей место на опушке, обновленные плетни и заборы, новостройки на ферме возбуждали воображение, наполняя душу горячей и трепетной радостью.

И не жаль утраченного, чего уже не вернуть, на нет – нет и суда, важно, что усыхая с одного края, деревня расширяется на другом, где поднялся в неподражаемом великолепии бревенчатый дом Савелия Ветлугина и его матери, каких не знавало древнее Круглово.

К воротам подкатил ходок, из которого долго и неуверенно вылезал Андриан Изотович.

Ленька узнал его не сразу. Минуло меньше года, как они расстались, но перед ним был усталый седой старик с бледным, отекившим лицом. Одежки на нем обвисали и топорщились. Он будто усох и невольно напоминал теперь тщедушного Паршука.

Его медлительность порождала недоверие, странное сочувствие. Голос был глух, раздумчив. Лишь в глазах поблескивало былым задором и озорством. Мгновением, как неуловимый выпад острого клинка, он входил в Ленькину грудь знакомой магической властью, но глубоко не затрагивал.

Укатали сивку крутые горки, другим он был – Андриан Изотович, несменяемый маевский управляющий... как все стали другими.

Подергав нехитрыми расспросами и будто бы удовлетворенный простыми ответами, Андриан Изотович сказал:

– По секрету скажу: Кожилин глаз на тебя давно положил, а я напоминаю, так что, серьезно готовься. Давно бы – своих ребят на учебу, а вишь... У нас, мол, без того всем двери открыты. Говорят, на практику к нам отказался? Прозевал, прозевал вмешаться и кое-кому подсказать, я бы такого не допустил.

– Безбожный, если помните, меня в свой совхоз пригласил.

– На свеклу его посмотреть? – недовольно нахмурился Андриан Изотович.

– Я садами увлекся, хочу поучиться на практике... И вообще, с умным человеком всегда интересно

– Безбожный – Безбожным, сады – садами, ты свое не забывай... Где рос... В родной совхоз возвращайся без фокусов. На том свете не прошу – своих разбазаривать. Я Кожилину настрою...

Подожли мать и отчим с Варюхой-маленькой на руках. Мать смеялась, радость ее и счастье были безграничны. Сокрушаясь, что дожили, уж по сто грамм противопоказано, она звала Андриана Изотовича в избу, но и сама будто не верила, что мужики примут ее приглашение.

Точно угадав ее недосказанную мысль, Андриан Изотович внес ясность:

– На новоселье соберемся, тряхнем стариной. На новоселье себя обязательно покажем, хозяйка, раньше времени не отчаивайся.

– Так вот, в связи с этим, Андриан, – заговорил Савелий Игнатьевич. – Недельку бы в виде отгула. В четыре руки мы лихо... штоб не целый день на пилораме. Трофиму накажу, Трофим управится.

– Давай, – глухо произнес Грызлов, по-прежнему производя на Леньку удручающее впечатление. – Свое, оно тоже государственное, если разобраться. Действуй недельку.

Тяжело втащив себя в тарантасик и подобрав вожжи, причмокнул на Воронка, в отличие от наездника, по-прежнему осанисто несущего голову, такого же статного, лишь более покорного вроде бы и терпеливого к подуставшему хозяину.

– Что это с ним? – не скрывая недоумения, спросил Ленька, поглядывая вслед ходку, убегающему негромко. – Едва признал.

– Ну-к! – Савелий Игнатьевич недовольно повел плечами. – Оно, когда крылья есть, а размахнуться негде... Это был человек размаха!

– Был?

– Што думаешь, так жить можно до бесконечности без всяких последствий? Уж если герой, то всю жизнь будешь в героях – грудь колесом? Ни старости, ни надрыва?

– Ой, ой, Савелий, да какой он старик, – сочувственно вмешалась мать. – Едва за пятьдесят... Ну, не едва, так и не шестьдесят даже.

Савелий Игнатьевич взглянул на нее осуждающе:

– Таку жизнь, да по годам. Не наша, ево жизнь – совсем друга. Да сам он другой, не по нашему склепан... Был, Леня, теперь только был. Пока кричал да гонял всех подряд, вот и жил, не тужил. Эти люди в себе иначе, чем снаружи. Они для себя всегда тяжелые, чем для других. – Развернув широкую и могучую грудь, боднул игриво Варюху-дочь и, передавая Варваре, спросил. – С полов начнем или с крыши?

Заливаясь смехом, годовалая Варюха тянулась им вслед. И было в этом ее полусознательном пока веселье нетленное и вечное, как вечен шум ветра, солнечное тепло в свой час, неустанный бег тихой воды, дремная заводь, принимающая на вечное хранение тайны обычного и незатейливого.

2

С полами покончили в два дня, но с надстройкой-скворешней, как называл ветлугинский мезонин Ленька, провозились долго. Сделав раз, вдруг решили, что не так, лучше бы развернуть крышу, сделав чуть ниже, не столь островерхой, принялись разбирать. Вместо окна на улицу поставили дверь и навесили резной балкончик. Здесь же, вместо конька, приладили петушиную голову.

Работалось в охотку, с жаром, но все же Ленька не мог не чувствовать, что не только ради дома и встречи с родными потянуло в деревню, и притаившееся за пределами этого главного, как он пытался думать и убеждать себя, оставалось тревожным. Всякий девичий голос или озорной вскрик заставляли вздрагивать; улавливая его невольный испуг, Савелий Игнатьевич хмурился и отворачивался. Вечер у него наступал не тогда, когда солнце укатывалось за горизонт и угасало, а значительно раньше, едва лишь воздух набирал розовые оттенки. Спеша уйти от беспокойных мыслей, Ленька азартнее наваливался и таскал доски, громче стучал топором, и когда голубовато-розовая бездна загустевала до черноты, измотанный вконец, но с облег-

чением, что добросовестно уработался и никакие другие желания, в том числе безмятежные прогулки по деревне, сейчас ему непосильны.

– Ну-к че уж ты так-ту, сынок, – пыталась заговорить Варвара. – Ребята спрашивают, девчонки... Не выйдешь никуда, не пройдешься... Ты так вовсе парня взнуздал, обрадовался дармовой силе, – набрасывалась она на Савелия. – Супонь маленько приотпусти, дай передых парнишке.

– Сена – еще... Вот сена набьем, тогда погуляю, – опережая отчима, произнес Ленька. – Завтра решено на покос.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.